

ЛИНА
НУРДКВИСТ

18+

ГОЛОД

Большие романы

Лина Нурдквист

Голод

«Издательство АСТ»

2021

УДК 821.113.6-312.4
ББК 84(4Шве)-44

Нурдквист Л.

Голод / Л. Нурдквист — «Издательство АСТ», 2021 — (Большие романы)

ISBN 978-5-17-147130-9

На дворе 1897 год, и молодая пара бежит через горы Норвегии. Унни, чудом избежавшая тюремного заключения, и рядом с ней, всегда ее оберегая, идет бродяга Армуд. Все что есть у них, это маленький сын Унни, ее коробка с лечебными травами и любовь друг к другу. Сквозь снега они пересекают границу Швеции. В заброшенном коттедже на поляне, между человеческой землей и дикой природой маленькая семья устраивает свой дом. В 1973 году две вдовы сидят друг напротив друга за столом, который Армуд смастерил семьдесят лет назад. Стареющая Бриккен планирует похороны мужа под бдительным присмотром своей невестки Кору. Между ними пролегли годы, старые обиды, тайны и невысказанные слова. Кто сделает первый шаг?

УДК 821.113.6-312.4

ББК 84(4Шве)-44

ISBN 978-5-17-147130-9

© Нурдквист Л., 2021

© Издательство АСТ, 2021

Содержание

Вырубка	6
Кора	7
Унни	10
Кора	21
Унни	27
Кора	39
Унни	47
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Лина Нурдквист

Голод

Lina Nordquist

DIT DU GÅR, FÖLJER JAG

Published by agreement with Ahlander Agency

© Lina Nordquist 2021

© Колесова Ю., перевод, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

* * *

Лина Нурдквист – шведская писательница, психолог и политик. Ее дебютный роман «Голод» переведен на двенадцать языков, а в октябре 2022 года книга получила престижную премию «Книга года».

* * *

Посвящается моей семье, потому что вы самое прекрасное, что у меня есть, и потому что иногда проявляете ко мне большие понимания, чем я того заслуживаю.

Мой сестре, которая любит книги, пожалуйста, еще больше, чем я. Всем, кто слушал, читал и помогал.

А также тому телемастеру, который умудрился несколько лет назад снести прием всех каналов, помимо двух, так что у меня появилось время писать.

Вырубка

Прямо под солнцем – открытое пространство. Земля без звуков. Чуть в стороне отбрасывают на землю тень огромные деревья, но рядом нет ничего, только старые зарубки от топора, смягченные дождем отметины пилы, голые пни.

Здесь лежит мертвый мужчина. Лицо в морщинах, словно на красивой потертой сумочке. Волосы нимбом вокруг головы. Белые, жидкие, трепещущие на слабом ветерке, дующем с вырубки в сторону леса. Рядом с ним распластались по земле листья папоротника, на ветке неподалеку машет крыльями серая неясность. Спешат муравьи. Деревья вокруг вырубки тянут свои ветви к мужчине и пням, но ничего не могут для них сделать.

Застывшая струйка густой темно-красной крови течет из головы мужчины по земле и хвое, словно струя воды, застывшая в своем движении. Охотничья вышка уже тоскует по нему. Рана большая, идет по всему черепу, но он не стонет, не дышит, а просто лежит рядом с лесом, как он и жил, повернув лицо к кронам деревьев. Глаза его закрыты, он ничего не видит. Его больше нет, он никогда уже не откроет глаза, но вороны видят его. И я вижу.

Кóра За кухонным столом

– В пятницу? Через две недели?

Свекровь говорит это с нервным видом.

– Очень хорошо, – отвечаю я.

Ясное дело, Бриккен в стрессе – ее муж только что умер, а бумаги, лежащие между нами на кухонной клеенке, касаются его похорон. На всех бумагах написано имя моего свекра Руара, его зеленое кресло с тряпичным ковриком на сидении пустует. Свекровь трогает пальцем крошечный шрам у основания волос. Серая кофта, седые волосы, кустистые седые брови, кожа белая, как бумага. Веснушки и старческие пятна. Ни одна из нас не носит брюк-клеш, для этого мы с ней староваты. Мне пятьдесят три, ей сильно за семьдесят, мы обе одинаково потрепанны жизнью. Подумать только – тридцать лет мы тремся друг о друга в этом доме. Правда, он, мой свекр, родился не здесь, но здесь учился ходить. В этом доме он прожил практически всю жизнь.

– Гроб и захоронение, – говорит она, глядя в бумаги.

– Урна, – отвечаю я.

– Гроб.

– Тогда зачем ты меня спрашиваешь?

– А я тебя и не спрашиваю.

Больше никто из нас не произносит ни слова.

Я только что сварила яйца, и лишь потом сообразила, что их обычно ел он, а не мы. В просиженном углублении в кресле сохранился Руар – но только там. Его кружка вымыта и стоит за голубой дверцей шкафчика прямо над мойкой, сборник кроссвордов лежит открытый ни для кого, и земля продолжает свое вращение – вертится по-прежнему, даже не заметив этого происшествия. У Бриккен грубые оправы очков, взгляд придирчивый, изучающий. Эти ее очки – словно лупы, вставленные в оправы: от них ее глаза кажутся огромными, как коричневые шары, как будто она видит все, что я сделала. Мы делим кислород в кухне, я и Бриккен, я отвожу глаза к окну, взгляд мой скользит мимо кружевных занавесок, покрытых слоем пыли. За окнами сухой коричневый газон, выжженный за лето солнцем. Нас осталось здесь двое, а до ближайших соседей почти километр. До деревни двадцать пять минут быстрым шагом, но там уже почти ничего нет. Сельский магазин, два новых лежащих полицейских и несколько грязных фасадов из этернита. И Лесопилка, ясное дело. Забор покосился, в нем не хватает доски, и прямо за ним стоят деревья, относящиеся к большому лесу. Между мной и Бриккен повисло молчание. Радио бормочет свое. Драма на площади Норрмальмсторг¹ осталась позади. Шесть дней в качестве заложников – с чем это вообще можно сравнить? И Фердинанд Маркос, ставший пожизненным президентом – он сам этого хотел, я уверена. Но меня-то кто осудил на пожизненное заключение? Здесь я находиться не хочу, но куда мне податься?

Бриккен выпрямляется, проводит ладонью по пояснице. Ее тело как потрескавшаяся глина, я не решаюсь встретиться с ней глазами.

– Еще кофе?

Она наливает, не дожидаясь ответа. *Клетчатая клеенка, заварной кофе в пластиковом термосе, кусок сахара в чашке с синими цветами. Опрятность и народный быт. Боже, знала*

¹ Имеется в виду захват заложников в Стокгольме в 1973 году, после которого возникло понятие «стокгольмский синдром» (прим. перев.)

бы она, что тут творилось, стоило ей отвернуться. Складка у нее между бровей – не только от сосредоточения. Ей приходится держать термос обеими руками, чтобы не пролить.

– Спасибо.

– Я подумала – ты ведь всегда хочешь добавки.

Я не отвечаю. Она кладет в свою чашку кусок сахара и залпом выпивает кофе. Чашки мелковаты, мне всегда так казалось. Ручка такая, что за нее и не взяться толком – ясное дело, Руар предпочитал пить из кружки с логотипом лесозаготовительной компании. Кофе у Бриккен, как всегда, слишком жидкий. Она смотрит на меня, желая услышать мое мнение – вкусный ли кофе. Мне не хочется лишний раз врать.

Такая тишина, что, кажется, заложило уши. На душе у меня свербит – вдруг Бриккен все же знает, хотя мы всегда были так осторожны? На щеках и лбу у нее лопнувшие сосуды – наверное, по сосуду за каждый прожитый год. Один из них, с сердитыми красными ответвлениями, напоминает паука. Кроны деревьев качаются на ветру – кроме этого труп старей ивы, от которого осталась одна палка. Скоро настанет осень, когда ветер будет отрывать ветки и швырять их в сторону болота, когда садовый столик перевернется на ветру. Такую погоду я никогда не решалась устроить в доме.

– Как ты думаешь, наша Курбитс пошла той же дорогой, что и Руар – в тот раз, когда она пропала? – спрашивает она, не сводя глаз с забора.

Я не отвечаю. В голове у меня мысли о другом, а не о мертвой кошке.

Скоро по телевизору будут показывать «Сцены из семейной жизни», но у меня нет сил смотреть, как герои рвут друг друга в клочья, у нас своего по горло. Продолжать ли мне молчать о том, из-за чего я раздирала себе грудь по ночам, о таблетках, и дровяном сарае, и клапане на колесе, или выпалить все как есть? Выдержит ли голос...

Снаружи Норрландское лето, белые ночи. По ночам луна и солнце стоят бок о бок, и скоро отягощенные мыслями одинокие люди начнут звонить на радио в вечерний эфир. Я знаю, каково это. У меня тщательно расчесанные волосы и блеск для губ, и вечный воображаемый камешек в ботинке. Мне было семь, когда я впервые описалась от страха, потом четырнадцать, и все продолжалось, потом мне стало тридцать восемь, сорок семь, пятьдесят три. Мое сердце – как ворона на высоком дереве. Иногда она каркает издали, иногда подбирается ближе. Наверное, я такая родилась, но иногда я задаюсь вопросом, почему ворона выбрала именно меня. Впрочем, с этим можно жить: когда приходит страх, он такой мягкий, летний, что-то нашептывает мне на ухо. С годами все стало терпимее. В молодые годы все казалось гораздо хуже, хотя тогда мне нечего было бояться. Давным-давно.

Я хочу, чтобы вдова Руара поручила мне заниматься его похоронами. Именно я должна была бы всех обзванивать и все заказывать. Решать, что на нем будет надето. Рассказывать истории из его жизни и просить нанятую певицу спеть «Осеннюю песню» на слова Туве Янссон. Но я не смогу объяснить это Бриккен. Так что я ничего не говорю по поводу похорон. Мне пришлось бы мигом собрать свои вещи и пойти, куда глаза глядят, если бы я рассказала, чем тут занималась, когда ее не было дома. А то еще и под замок посадили бы. Вместо этого я беру пирожное с вареньем и грызу его. Некоторое время мы сидим молча, одинокие вместе. Затаились и выжидаем. Мы продолжаем делить между собой пространство этого дома, как все дни с тех пор, как я вышла замуж за их с Руаром сына, и все вышло совсем не так, как я себе представляла. На кухонном окне жужжит муха. Рвется на волю, как и я.

Первой молчание нарушает Бриккен.

– Ты знаешь, что мать и отец Руара вышли из леса вон там, между соснами? – говорит она и кивает головой в сторону окна. – Унни и ее Армуд выбрали себе дом в таком уголке леса, куда солнце может заглядывать беспрепятственно. Пришли пешком из самой Норвегии, а багажа у них было всего-ничего – мальчонка на руках, лакированная деревянная шкатулка и мешок с провизией.

Поправив носком туфли кухонный коврик, она оглядывается, словно надеясь найти в этой старой кухне нечто вдохновляющее. Все здесь допотопное, мы тоже, но у нее по-прежнему самые красивые дверцы шкафов, и именно ей подарили на юбилей столешницу под мрамор в кухню. Мне же подарили новые часы. Ее взгляд скользит дальше в поисках роскоши, находит алюминиевую кастрюлю с вмятинами, покрытые жиром стыки кафеля, останавливается на пожелтевших синтетических кружевах. Сейчас ей удалось навести немного блеска на оконные рамы – они по-прежнему сияют белизной после покраски в позапрошлом году. Бриккен проводит рукой по подоконнику.

– «Уютный уголок» был куда меньше, когда они въехали сюда, и выглядел весьма запущенным. Когда появились они, дом уже давно пустовал. Серое замызганное пятно на фоне стволов деревьев, не иначе. «Здесь мы в безопасности, – видать, сказали они. – Здесь будет наш дом». И хорошо для хозяина местных лесов, что кто-то согласился позаботиться о домишке, хотя он и брал с них немалую плату.

Историю об Унни и Армуде я слышала так много раз. Иногда мне хотелось быть, как она: любимой, сильной, готовой пуститься в путь, оставив все позади. В голове прорастают мысли, как все могло происходить тогда, давным-давно.

Унни В пути

Я не знаю, как оно могло бы быть, зато знаю, как оно было. Знай я тогда, чем все закончится, дни заполнились бы совсем иной ценностью и ожиданием. Если бы даже я могла заглянуть в будущее, все равно ничего бы не предприняла, чтобы остановить надвигающееся. У горя нет правых и виноватых. Счастье не знает морали.

От крестьянина, которому поручили отвезти меня, пахло похмелем. Я слышала, как шептались люди в тот морозный день, когда я залезла на его повозку. Крестьянин отпустил мою руку и толкнул меня в спину, чтобы я скорее залезла в клетку для скотины у него на телеге. Многие, кого я давно знала, отворачивались. Кто-то сплюнул на землю. Следующая остановка – холодная комната с запертой дверью. Крестьянин прикрикнул на лошадь, и мы тронулись в путь. Когда телега покатила, дверца стала биться о клетку. Лошадь разогналась, железо все громче билось о дерево – так я поняла, что крестьянин забыл меня запереть. Секунды полета. О, как я бежала к тебе, Руар! Как заставляла работать легкие, преодолевая боль в ноге, пока не увидела блеск воды, Армуда, смолившего чью-то лодку, и наконец-то разглядела светлый пучок твоих волос – ты сидел позади плоской синей кормы.

Армуд оставил недосмоленную лодку. Он первым покинул мой город – большими решительными шагами, хотя мог бы и остаться. А я лишь кинула прощальный взгляд на тот кусочек Норвегии, что был мне домом. Позади остались море, голод и все обвинения. Взгляды, полные ненависти или малодушно отведенные в сторону. Горы, покрытые набухшими почками, смотрящие вниз на людей в том городе, где мы жили, и видящие, как те копают могилки своим умершим детям. Слезы со вкусом моря. Море со вкусом слез. Я хотела бы остаться, не желала заставлять сына пускаться со мной в это путешествие, сама не зная, чем оно закончится, но выбора у меня не оставалось. Поэтому мы шли день за днем вдоль берега, а в глазах у нас отражалось небо. Мы шли по темным тропинкам через большой лес. Правая нога болела, но с этой болью можно было справиться. Хуже обстояло дело со страхом и тревогой. На руках у меня тельце ребенка, которому еще не исполнилось и года, внутри меня растущее яблочное зернышко. Так близко. Ты, Руар, крошечным тучком спал у меня на животе, подтянув под себя ножки от холода. Твоя сестра была безымянным семечком под моим пупком. Ее отец – человек, которого я едва знала, но глаза у него были добрые, и я доверилась ему.

У меня была красная лакированная шкатулка вишневого дерева со всякими снадобьями, доставшаяся мне от целительницы, а впридачу то, что было на мне надето: коричневая юбка, шаль и потрепанная белая блузка. Дырка у воротника тщательно заштопана. Остальное мне пришлось оставить позади. Выбора не было. Человек из Кристиании, где я никогда не бывала, был одет в брюки из потускневшей черной ткани и куртку, не имевшую никакого цвета. Выцветшие, безжизненные ткани. Но лицо у него было живое, и он пошел со мной, полюбил тебя, Руар. Шесть месяцев мы с ним знакомы, и вот уже некоторое время спим в одной постели. Я полюбила его имя, Армуд, и его руки – волосатые, почерневшие от погоды и путешествий, напоминающие сказочный лес. Меня тронуло, как он предложил присмотреть за тобой, когда мне надо было пойти с моей лакированной коробочкой к больной девочке у подножья горы. Я ушам своим не поверила, когда он предложил пойти со мной, узнав, что я вынуждена бежать.

– Я с тобой.

Так он сказал, и мы пошли. Главное – любить друг друга. Так думала я тогда. Мне казалось, что все просто.

Поклажа висела на его спине, он человек привычный, странствовал ранее. Поначалу я все время оглядывалась назад, вспоминая слова пастора. «Убийца». Сколько времени пройдет,

прежде чем они догонят нас? Но с каждой милей, которую мы оставляли позади, дышать становилось все легче. Когда мы просыпались по утрам, чтобы продолжить наш путь, костер уже почти угасал, но в нем теплились искорки, дававшие достаточно тепла, чтобы начать новый день. Иногда Армуд мочился на угли, оберегая лес, прежде чем мы пускались дальше. Дни тянулись медленно, но еда исчезала быстро. Ранец Армуда с запасом провизии становился все легче, вскоре в нем осталась лишь щепка для костра, скоро нам придется покупать еду. Вдали виднелись горы, покрытые снегом даже среди лета.

Наверное, с его стороны любовь была уже тогда – иначе я не понимаю, почему он шел со мной все эти долгие дни, сквозь деревни, вдоль проселочных дорог, под пляшущим дождем и палящим солнцем. Каждый раз, когда я смотрела на него, слышала его смех, на душе у меня становилось теплее. Высота и горный воздух обжигали холодом. Сырость пробирала до костей, не желая отступать обратно к морю. Ботинки промокали. Не раз, глядя на него, я думала, что он вот-вот повернет назад и скажет мне, чтобы я продолжала путь одна с мальчиком, но этого не случилось. Его спина уверенно двигалась вперед у меня перед глазами, и он оборачивался только чтобы посмотреть на меня с улыбкой, никогда с сомнением.

Мы обогнули город Рёрус – вся природа напоминала живые алмазы: березовый лес, горы, просторы и белые стволы. Помню, как на закате дня в воздухе повис мокрый снег. Суровые ветра дули нам в лицо, пока мы поднимались все выше. В тот день мы шли быстро, чтобы не замерзнуть, и я чуть не врезалась в спину Армуда, когда он резко остановился. Он показал мне свою ладонь, на которую приземлилось нечто мокрое. Не капля воды – снежинка. Тут же на его запястье приземлилась еще одна – у самого края рукава, где человеческая кожа так тонка и чувствительна. Я наклонилась вперед, чтобы рассмотреть ее.

– Видишь, Унни, какой чудесный узор? – проговорил Армуд. – Эта крошечная снежинка не похожа ни на большую рядом с ней, ни на любую другую из своих многочисленных сестричек. Но нечто общее есть у них всех – поверь мне, человеку, однажды не уделившему должного внимания погоде и чуть не лишившемуся пальцев. Каждая снежная звезда – сигнал опасности, и нам надо спешить, чтобы спуститься с гор и вернуться на равнину, к лету.

Еще мгновение блестели кристаллы, потом растаяли и исчезли. Армуд погладил меня по щеке тыльной стороной ладони.

– Ты такая красивая, Унни, – сказал он. – И смелая.

Мы улыбнулись друг другу и пошли дальше, ускоряя шаг. Человек, обратившийся ко мне с ужасной раной на руке, которую я вылечила при помощи белого мха. При следующей встрече он подкинул моего сына в воздух, так что тот захохотал до икоты. Потом поймал голыми руками чужую курицу, свернул ей шею и угостил меня ужином где-то на грани города и воды. Он не пошел дальше в сторону Му в Рана, как задумывал изначально, а нашел себе работу в порту Тронхейма, хотя обо мне там шли злые слухи. Человек, который умел улыбаться так, что морщинки вокруг глаз становились глубже, и который остался со мной. Несмотря ни на что.

Поэтому все так вышло. Поэтому он шел со мной, а я с ним. Не от разума, а от чувства. Когда мы были вместе, прекрасного казалось больше, чем опасности. Куда бы ни пошел один из нас, второй последовал бы за ним. Куда хотел один, туда хотел и другой. Это, и еще одно – понимание того, что я не могу вернуться.

Вскоре снежинки уже нещадно хлестали в лицо, резали глаза. Я завернула тебя, Руар, в шарф Армуда и обеими руками прижала к себе. Когда ветер подул сильнее, я подняла плечи и опустила голову, спрятав подбородок за край шарфа. Шаг за шагом пробиралась я сквозь непогоду, не сводя глаз со следов Армуда перед собой. Отпечатки моих подошв как раз помещались внутри его следов. Когда он обернулся ко мне и улыбнулся, лицо у него было покрыто снегом и изморосью, а подбородок посинел от холода. Задним числом я думала, как он, должно быть, мерз тогда, идя впереди и рассекая ветер, отдав тебе свой шарф, но он никогда не жаловался.

– Вот так себя чувствуешь, когда отрываешься от земли, Унни, моя дорогая! – рассмеялся он, видя, что я встревожена. – Нужен ветер, чтобы полететь!

Ближе к вечеру браться с ураганом стал невозможно. Он норовил сбить меня с ног, обжигал уши, хотя голова у меня и была замотана шалью. Армуд нашел большой камень, защищавший от ветра, и построил снежный вал, который защитил бы нас на ночь, пока погода не изменится. Потом мне пришлось разводить огонь – пальцы у Армуда настолько замерзли, что он не мог ими пошевелить. Мы крепко прижались друг к другу, как матрешки, которых расписывают где-то в окрестностях Москвы. Их он видел своими глазами, нашептывал мне на ухо об их радостных расцветках, в тепле его живота я ела горный снег, согревая руки Армуда у себя в подмышках. Холод шептал мне, что ничего не выйдет. Но что нам оставалось?

Солнце напевало нам, когда мы пересекли границу Швеции. Думаю, мы вошли в Хэрьедален, не знаю точно, где, но именно с той стороны мы и пришли. Едва мы ступили на чужестранную землю, как я перевела дух, и идти стало легче. Страх по-прежнему таился в голове, и ноги болели, но я расправила плечи, и переносить боль в правой ноге сразу стало легче. Мы увидели лес, деревни и просторы. Спустились с горы в долину, через реки и речушки – снова лес, снова вода. Я все еще мерзла, так что мы пошли на юго-восток в поисках тепла, чтобы отогреться после того перехода, который только что совершили. Куда податься? Нам ни к чему большой город, мы ищем нечто маленькое и безопасное. В Стокгольме двадцать человек погибли, пытаюсь увидеть хоть одним глазком Кристину Нильсон. Их задавили насмерть перед отелем, где жила певица, это рассказала мне целительница Брита, когда я жила у нее – перед тем, как она умерла и родился Руар. Туда мы точно не пойдем.

Через несколько дней горы стали синими, и просторы перед нами засияли всеми оттенками неба. Хэльсингланд. Природа радовала глаз яркими чистыми тонами, как произведение искусства из разноцветных кубиков. Колыхающиеся пшеничные поля. Смеющиеся цветы льна. Солнце за тучей. Узловатые ветки, торчащие из шершавых стволов. Просторы, синие горы и черный лес. Для Армуда, страдавшего дальтонизмом и не различавшего цветов, этот ландшафт показался самым прекрасным на свете. Вся остальная реальность в сравнении с этой представляла серо-коричневой мешаниной. Красный и зеленый сливались для него в один и тот же коричневый цвет. Но здесь – здесь был лен, синие горы, голубое небо. Здесь была красота, которая могла порадовать и его глаз.

Взглянув на меня, он улыбнулся.

Я увидела, о чем он думает, на что надеется. Станет ли это место нашим домом?

– Да, – ответила я. – Мы пришли.

Мы начали смотреть по сторонам, ища себе пристанища. Работа здесь точно найдется, вокруг теснились хлев за хлемом, огромные амбары и деревянные дворцы, служившие домом крупным шведским крестьянам. Посреди протяженных, колышавшихся полей виднелись большие, красные дома с крашенными дверьми и причудливой резьбой на окнах. На крыльце нежились на солнышке дети и кошки. Здесь Армуд наверняка мог бы найти себе место батрака.

Но не я – даже если я рискну, опасаясь каждую минуту быть выброшенной за порог и снова оказаться без крыши над головой. Нельзя подходить так близко к людям и их вопросам, на которые они будут ожидать от меня ответа, а я не решусь показать бумаги. Руар, ты потянул меня за волосы, когда-то цвета спелой ржи, а ныне грязных оттенков пыли и золы. Ты смеялся мне в лицо звонким смехом, твои глаза цвета ноябрьского неба смотрели так лукаво. Ты указывал на тонконогих коз и жующих коров за забором. И ты, и Армуд могли бы обрести здесь счастье. Но я... если люди в этой деревне узнают, они выгонят меня, а потом из другой деревни, снова и снова. В деревне слишком много глаз, слишком много вопросов. Так что мы двинулись дальше. В горле у меня пересохло, руки сжались в кулаки.

Мы миновали большие крестьянские дворы, и дома стали попадаться реже, я посматривала на курятники и покосившиеся домики, когда мы проходили мимо, но все они были обитаемы. Ты, Руар, смотрел на высокие кроны сосен в бесконечном лесу, пока мы шагали по извилистым тропинкам, протоптанным многими поколениями. Сосны стояли темные, ели смотрели на нас, как смотрели вокруг сотни лет. Ты ловил мой взгляд, улыбался нитям паутины лесного паука. Самые прекрасные кружева леса. Ты хотел спуститься на землю, чтобы рассмотреть их поближе, но я не решалась остановиться, боясь, что мне не хватит потом сил подняться. Вот оно! Что-то серое и невзрачное мелькнуло за деревьями, блеснуло одним глазом, затуманенным пылью. Одиноким домик с окошком, которое мне предстоит отмыть – так я надеялась. Неужели мы сможем остановиться здесь? Надежда пробудилась во мне, когда мы подошли ближе. Но нет, дорожка к дому хорошо утоптанная. Ведро у двери еще не начало ржаветь. Кто-то иногда приходит сюда, и скоро вернется.

Мы пошли дальше. На следующий день я подошла к самому окну, прежде чем увидела, что внутри кто-то подмел пол и выставил яблоки. Нигде для нас не найдется места. В кармане остались последние монеты, силы на исходе. Я видела, как Армуд шагает впереди, решительный, широкоплечий, хотя и он не ведает, куда мы идем. Теперь он нес и тебя, и поклажу, а я все равно отставала. В его волосах осела пыль, так что они стали серыми, хотя должны быть коричневыми и блестящими, но, когда он оборачивался и ждал меня, взгляд его не был ничем замутнен. Теплые карие глаза, как кора после дождя. Он шурился, когда смеялся, как шурился на солнце. Держал твоё бледное маленькое тельце на своей загорелой груди, и вы были так прекрасны вместе. Тогда у меня снова появлялись силы догнать вас, хотя внутри все больше давила мысль, что все напрасно. Ноги почти не ощущались, зато мысли прояснились. Вдоль озера Уршён я тащила все медленнее, а в Эстрёбёле я долго сидела, прислонясь к стволу дерева. Я говорила совершенно искренне, когда выдавила из себя:

– Ничего не выйдет, Армуд, – сказала я. – Тут нет дома для нас, ты можешь оставить меня здесь и идти дальше, ты везде найдешь работу.

– Унни, Унни, – ответил он. – Куда пойдешь ты, туда и я. Всю дорогу от Кристиании я прошел пешком, пока нашел тебя, уж всяко я могу пройти столько же с тобой, чтобы сохранить тебя и малыша. Пойдем, Унни, потанцуем здесь, в траве – сейчас лето и суббота.

Армуд поднял тебя, Руар, высоко над головой, словно вы с ним были одно. Он смеялся и пел. От его радости я снова поднялась, и мы пошли дальше, пока у меня не закружилась голова, так что мне пришлось склониться к земле. Мимо проходила крестьянка с тремя детьми, она не могла не остановиться.

– Мы, на чьей стороне счастье и удача, – сказала она старшей дочери, – мы должны строить стол подлиннее, а не забор повыше.

Слова вылетели из ее уст с незнакомой интонацией. Мне захотелось ее обнять.

– Можете переночевать в нашем сарае для сена, – сказала она. – В обмен на то, что мужик твой поможет моему вывезти навоз.

Армуд тут же согласился. Крестьянка угостила нас кашей с молоком в своей кухне, и я, упершись руками в край стола, чувствовала, как рожь и молоко укладывались у меня в животе – меня стало клонить в сон. В комнатке за кухней виднелась кровать, такая уютная. Крестьянка поймала мой взгляд.

– Ты смотришь на вышивку на подзоре? Она сделана Бритой Рудольфи из Дельсбу, – пояснила она. – Подумать только, овдоветь такой молодой, да с четырьмя малышами! Но она справляется, Брита. И ой-ой, какая красавица!

Я не обратила внимание на вышитые цветы, но они были прекрасны, как снежинки в норвежских горах. Как бы мне хотелось научиться так вышивать!

Голоса крестьянки и Армуда звучали, как отдаленный плеск волн, когда он рассказывал о воспоминаниях детства и своих странствиях до самой Дании. Описывал затяжной шторм в

1875 году, когда его дядя был моряком на баркасе Идале со стройными мачтами. Помогая себе руками, он описывал порывы ветра и обломки, выброшенные морем на берег, повествовал, как дяде удалось выбраться на остров, но он чуть не замерз там насмерть, пока его обнаружили и спасли почти сутки спустя. Я услышала, как крестьянка охнула.

– У нас тоже был свой Идале – пароход, – сказала она. – Совсем неподалеку отсюда сел он на мель, в Варпене, до того берега можно добраться пешком, если иметь хорошие ноги. И совсем не шторм был, когда он сел на мель, а распрекрасная погода. Тринадцать детей утянул с собой на дно. Это были ученики школы для глухих – счастье для них, что они не слышали криков друг друга.

Одна история следовала за другой. Время шло, а к делу так и не переходили. Армуд рассказал, как видел издали землетрясение в Хагамарке, унесшее с собой в норвежскую глину больше ста крестьянских домов – людей, скотину, все.

– Остался лишь гигантский кратер.

Бездомные, нищие – те, кто выжил. У него это прозвучало так, словно поэтому нам пришлось бежать. Наконец он перешел к делу.

– Конечно же, есть заброшенные торпы, – ответила хозяйка. – Надо только знать, где искать. Но смотрите, чтобы вас пустили на хороших условиях. Еще не хватало, чтобы вас использовали.

Она позвала из хлева своего мужа, а он точно знал, куда нам следует направить стопы. В двух-трех часах пути отсюда в березовой роще стоит торп, за которым никто не присматривает с тех пор, как семейство упаковало вещи и отправилось в Америку.

– У них там случился неурожай несколько лет подряд, и вот уже двадцать лет от них ни слуху, ни духу, – сказал крестьянин, наливая Армуду чарку.

Он говорил напевно, как жена.

– В ту ночь, как они уехали, пропала касса у торговца в лавке возле усадьбы Рисланд, которому я продаю клевер и сыр. Так что та семья точно не вернется, можете быть уверены. Спросите у Нильссона в Рэвбакке, он наверняка может предложить вам разумную цену, чтобы купить или арендовать. Передавай от меня привет, мы с ним троюродные. Он живет на полпути между этим торпом и деревней, надо свернуть с дороги у круглого камня с острым краем.

Домик в двух часах ходьбы за разумную цену. Эта мысль согрела меня не хуже, чем каша. В тот вечер, заснув на мягком сене, я почувствовала, как все тело распрямилось. В словах, говорившихся здесь, звучала чужая мелодия, но сено было привычным, как дома. Мое тело и тело Армуда прекрасно понимали друг друга, говорили на одном диалекте.

На следующее утро я проснулась, почувствовав на лице твои пухленькие ручки, Руар. Ты тыкал меня в висок соломинкой, глаза под взлохмаченной челкой были полны ожиданий. Все тело у меня стало мягким и легким, когда мы пошли, следуя описанию дороги, данному крестьянином: сперва на юг, потом вдоль изгибов реки Глэссбуон на юго-восток, пока речка не сделает резкий внезапный поворот. Там мы напились речной воды и тоже свернули, долго искали, ноги болели, но несли нас вперед. Мы шли домой, только не знали, куда. Путь, по словам нашего советчика, занимавший два часа, обернулся четырьмя – дорога всегда получается длиннее, когда не знаешь тропинок, коротких путей и переправ.

Километры и мили вдоль дороги и синих полей. Среди камней и деревьев на полях, где веками жили люди. Все они умерли. Растаяли во времени. Стертые воспоминания, забытые жизни, ныне похороненные среди желтого льна и округлых камней. Мы миновали лавку, распространявшую запахи табака и корицы, с банками карамелек в окне и мешками с семенами клевера и тимофеевки. Что это означает – мы уже близко? Ног я не чувствовала, солнце повернуло к низу. Дорога вновь увела нас прочь от жилья – еще немного по проселочной дороге, а

дальше лесная тропа, поросшая посредине зеленой травой. Хвойный лес по обеим сторонам, комары и холод посреди лета.

И вот, как раз у том месте, где хвойные деревья закончились, вцепившись корнями крепче в землю, уступили на мгновение небу и солнцу, на хорошем расстоянии от деревни, посреди вырубki в лесу, где собирался солнечный свет, виднелась полянка. В точности как описал ее крестьянин. Стайка белых берез защищала от комаров, а за ними мы увидели наш дом. Все здесь поросло травой и мелким кустарником, нигде никаких человеческих следов или инструментов. Одинокiй, заброшенный торп, посеревшее дерево – избушка блеснула серебром среди деревьев. Тропинка, ведущая к двери, заросла, одичавшие кусты сирени и смородины, колючий крыжовник и два старых дерева с яблоками и сливами. Потрепанная крыша и рядом с полуразрушенным забором – ива с темно-серой корой.

Мы остановились у забора, доски которого провалились наружу и внутрь. Я тяжело дышала, на глаза у меня навернулись слезы. Я помню все это, и еще помню, как Армуд набрал в грудь воздуха, но осекся и посмотрел на деревья, окружавшие посеревшую избушку. Долго стоял молча – он, привыкший шутить и балагурить.

– Подумай, Унни, – произнес он наконец. – Как мал человек на фоне взрослых деревьев. Он обнял меня и притянул к себе.

– Видишь ту мелкую хвойную поросль? Когда у тебя на глазах вырос лес – значит, ты действительно жил.

Я же не сводила глаз с серой листвы ивы, вспоминая, что рассказывала мне про ивовую кору целительница Брита.

– Я хочу остаться здесь, – сказала я. – Здесь покой.

И мы назвали избушку «Уютный уголок»

Вероятно, наше странствие, продолжавшееся девятнадцать дней, подошло к концу.

Я легла на спину в траву под ивой, глядя вверх на ее серые мохнатые листья и на небо позади нее – ведь это то же самое небо, что и там, где я была *дома*? Аренда – слишком ненадежная затея, а наших последних монет едва ли хватит даже на новые рамы, но может быть, мы смогли бы отработать или получить дом в рассрочку?

Несколько минут я отдыхала в траве, потом Армуд протянул мне руку и помог подняться. Настал момент разыскать владельца и попросить его рассудить по доброте и справедливости. Примерно на полпути по лесной дороге к деревне стоит круглый камень с острым краем, как сказал крестьянин. Там нам следовало повернуть влево – и уже через несколько сотен метров мы увидим усадьбу Нильссона.

Еще издалека мы услышали, как мычат коровы и блеют козы. Усадьба с новой крышей была окружена всяческими пристройками. На поле работала беременная служанка с большим животом и коричневой косой на спине. Сам хозяин стоял, тяжело опершись о лопату, когда мы подошли к нему, засунув одну руку в карман – от солнца и работы его синяя рубашка вся пропиталась потом. Глаза у него были светлые, ресницы почти белые. Косматая борода со светлыми волосками, влажные руки с грязными ногтями и разогретое от работы тело.казалось, под одеждой он весь мягкий, я подумала, как это странно для человека, проводящего дни в тяжелых трудах, беспрестанно обрабатывающего землю. Наверное, таким становятся, когда едят пшеничную муку. Армуд стоял, держа шапку в руке – обратившись к крестьянину, он смотрел ему прямо в глаза, говорил обычным тоном, я не понимала, откуда у него такая смелость. Пожав руку и поклонившись, он больше не склонил головы.

Крестьянин стоял передо мной, переминаясь с ноги на ногу, пока мы здоровались, потом расслабился, и нам налили кофе. Его жену Аду я не запомнила, это была одна из тех женщин, которая рождает каждый год, пока тело не откажется. Она тихонько кралась туда-сюда по комнатам, но не проронила ни слова. Потом я не могла даже вспомнить, как она выглядела, помню

только, как она собирала в корзину утиные яйца размером с детские кулачки, когда мы пришли, и хваталась за спину каждый раз, когда наклонялась к земле. Повернув с корзинкой в руках к дому, она пошла, опираясь на палку, хотя на вид ей было не больше тридцати. Вскоре она снова появилась с новой корзинкой, неся стаканы и бутылку. Дрожащими руками разлила синюю жидкость. Напиток оказался сладким – они кладут сахар в черничный сок! Руар, ты пососал кусочек сахара и беспечно заснул в траве.

После кофе достали бумаги. «Сёрвретен в рассрочку на десять лет» было записано в них, потому что так назывался наш «Уютный уголок».

«Армуд Муэн-Ульфос», – написал Армуд на двух одинаковых бумагах, потому что он умел писать.

«Эрик Нильссон из Рэвбакки», – написал рядом крестьянин.

Крестьянин показал нам заросшую тропинку через лес, по которой мы скорее доберемся до дома. Они помахали нам, стоя на крыльце, когда мы повернулись и пошли, аккуратно прятав бумаги в ранец Армуда.

– Вот это настоящий крестьянин, – проговорил Армуд. – Рачительный хозяин и честный человек. Здесь мы можем задержаться надолго.

– Здесь мы останемся насовсем, – сказала я.

Тропинка, петлявшая по летнему лесу, вывела нас к нашему дому. Она была усыпана корой и листьями. Мы миновали маленькое лесное озерцо – словно задумчивый черный глаз среди деревьев. По краю росли кувшинки, луговик и камыш, как пышные дрожащие ресницы. Волны чуть слышно плескались о берег. На глубине наверняка притаились щуки.

Может быть, Армуду удастся выловить рыбу, которую мы сможем засолить? Мы улыбнулись друг другу, теснее прижались друг к другу. Всего через несколько минут мы пришли к домику – казалось, он готов вот-вот рухнуть, но усердным трудом мы сделаем его пригодным для жилья.

– Торпарь Муэн-Улефос! – произнес Армуд. – Кто бы мог подумать? Странник обрел дом!

Стены, пол и потолок из сосны. Рядом с дверью – старый сундук с проржавевшими скобами, на нем маленький скелет мыши. В углу – трехногий кухонный стул, из-под облупившейся красной краски проступает серая. Должно быть, когда-то их было несколько, но теперь он хром и одинок. Когда дом опустел, сюда, наверное, не раз заглядывали искатели сокровищ. Петли на двери заржавели, на деревянном полу испражнения животных. В потолке дыра навстречу солнцу и дождю – там, где сгнили балки. Первым делом я протерла грязь на окнах тыльной стороной ладони, чтобы впустить свет. Паутину в доме и дровяном сарае я оставила, на случай если придется кого-нибудь лечить. Потом постелила на полу белые простыни и теплые шкуры. Уложила тебя, Руар, поспать в середине дня, ты был так прекрасен в своем новом доме: волосы как венчик вокруг головы, мягкий пушок на руках и ногах, глаза серые, как вода в Тронхеймском фьорде в пасмурную погоду. Весь ты – безграничная любовь.

На полу в кладовке я нашла потемневший медный котел. Армуд начистил его, и котел засиял в полумраке как фонарь. Потом Армуд вбил четыре гвоздя, где мы могли бы вешать кружки, чтобы до них не добрались мыши. Затем вбил еще два больших гвоздя рядом с дверью.

– Здесь будем вешать одежду, – сказал он. – Это теперь наш дом.

Я заморгала, отгоняя слезы, когда он вбил в стену ряд маленьких гвоздей под нашими большими. На будущее.

У нас оставалось два коротких месяца, чтобы вдохнуть жизнь в землю и вырастить пищу, которой должно было хватить на всю зиму. Приходилось торопиться – я будила Армуда еще засветло, ложились мы уже в темноте, иногда он засыпал, не издав ни звука. Странствовать – одно, жить на одном месте, борясь с землей – совсем другое. Но он был не только певун,

помогший нам с тобой в пути, Руар, он оказался куда более работящим, чем я могла надеяться. Дни проходили в трудах, ночи были коротки – приходилось вставать с постели до восхода солнца, иначе Армуд никак не успевал отработать свой долг крестьянину и затем, оставив позади лесозаготовки, спешить домой, чтобы потрудиться над нашим домом. Он обещал мне быть осторожным на валке сосен, но я слышала, что это лишь слова, а не настоящее обещание. Что бы он ни говорил, я видела: он трудится в поте лица, желая доказать мне и крестьянину, что всерьез намерен расплатиться и построить для нас новую жизнь. И еще до начала нашего странствия я знала, как трудно внушить ему страх.

– Страх создает нужду, Унни, – сказал он мне дома в Тронхейме, когда мы только познакомились, и я волновалась по поводу шторма, морских глубин и высоких волн. – Я странник, а сейчас еще и рыбак. Странник не боится дороги, а рыбак не может бояться воды, так же как человек, боящийся искр, не станет хорошим кузнецом.

Сейчас он говорил то же самое о лесе.

– Теперь лес кормит нас, Унни. Работая в лесу, нельзя бояться деревьев.

Так что я волновалась за него каждый день и каждый день радовалась, когда он возвращался домой – убирая мокрые от пота волосы со лба загорелой рукой, глядя на меня глазами цвета косточек яблока. Каждое утро тревога. Каждый вечер радость. В промежутках – ты, Руар. По утрам я просыпалась от звука твоего голоса, когда солнечные лучи заглядывали в наше окно. Я вставала босыми ногами на свой дощатый пол, доставала чего-нибудь поесть, и мы начинали наш день. Каждый день был похож на другой. По договору Армуд обязывался выходить на работу с утра и работать, пока солнце не повернет к закату. Каждый день года он будет отдавать лесу, кроме тех дней, когда родятся его дети, Рождества и того дня, когда выпадет первый снег. В эти дни он будет свободен. Десять лет уйдет у него, чтобы отработать наш дом – когда он ни разу не оставался на одном месте больше года-двух. Мы редко говорили друг с другом и работали быстро: нельзя было терять время теперь, когда мы обрели приют. Армуд никогда не сидел – он либо стоял, либо крепко спал. Так много камней в земле, которые никто раньше не выкапывал. Вероятно, потому дом стоял заброшенный – местная земля не желала делиться с людьми пропитанием, стремясь оставить все себе. Мы боролись с землей, в кровь разбивая руки, ладони наши покрылись мозолями и трещинами, царапины тянулись до локтей. Один за другим мы складывали камни в большую кучу. Лес давал нам воздушный белый мох, чтобы залечить наши раны. Под ногами расстилалась мягкая трава. Из трубы шел дымок. Сгнившая крыша была починена – с большим терпением, до боли в руках. Пока Армуд заделывал крышу, я вспахивала землю и кидала в нее семена, сажала брюкву и картошку, выкапывала кустарник и корни, тащила все новые камни к постоянно растущему валу – монументу стиснутым зубам и содранной коже. Хотя спина болела и протестовала, я окапывала посадки, осторожно покрывая ворованным навозом крошечные растения, чтобы они смогли вырасти и стать едой, от которой в доме повиснет вкусный запах и заполнится твой животик, Руар. Рядом со старыми деревьями мы посадили несколько новых молодых тоненьких яблонь – Армуду пришлось взять денег в долг, чтобы их купить. Они вырастут и будут кормить нас. А ты, Руар: ты ползал между нами по земле и траве, весь чумазый, играя с шишками, камешками и жуками.

Помню то утро, когда я проснулась и увидела, что в доме пусто. Заметив следы Армуда по утренней росе, я пошла по ним за угол дома. Он держал тебя на руках, ты тянул его за пуговицы на рубашке, а он рассказывал тебе истории о своих странствиях и учил тебя именам птиц. Казалось, вы с ним одно. Подойдя к вам со спины, я обняла Армуда.

– Как я смогу отплатить тебе за то, что ты сделал для меня? – спросила я.

– Люби меня, – ответил он. – Всего-навсего. *Люби меня.*

Я заготавливала целебные травы, выбирала ветки на узловатой иве. Было еще самое начало лета, и кора легко сходила с веток. Я брала лишь самые тоненькие веточки, чтобы не нанести ей вреда, а, вернувшись в дом, раскладывала и сушила наше лекарство от осенней

хворобы и зимних ран. Скрученное небольшими клубочками, оно помогало нам вооружиться против напастей. Шмели кружились вокруг меня, когда я сняла кору с ивы и сплела нам корзину и заплечный короб. Вместе мы сильны, гнемся-не ломаемся, я и ива. Когда корзина была готова, мы с Армудом пошли с ней к торговцу на перекрестье путей у усадьбы Рисланд. Всю дорогу в корзине каталась пустая бутылка. На полях золотились пшеница и рожь, синели цветы.

– Как легко привыкаешь к красоте, – сказала я.

– Надеюсь, ты уже можешь к ней привыкать, – ответил Армуд. – Но, что бы ни случилось: никогда не привыкай к безобразному.

Мы задержались среди цветов, глядя, как они покачиваются. Что-то толкнуло меня изнутри, под ребрами.

– Потрогай, Армуд! – сказала я. – Она машет нам!

Такой теплой показалась мне его ладонь, приложенная к моему животу. Когда мы приблизились к лавке торговца, я принялась – тут пахло табаком и керосином, тимофеевкой, соленой селедкой и кардамоном. Сам торговец стоял за прилавком и приветствовал нас смешком, похожим на лошадиное ржание, когда мы вошли. Он был лысый с блестящим черепом. Живот выдавался далеко вперед, так что ткань натянулась на нем. Он наполнил нашу бутылку самогонном до самого горлышка, хотя я подмигивала Армуду, что надо сохранить те немногие монеты, которые у нас остались. Торговец делал бумажные пакетики и наполнял их товарами по мере того, как мы заказывали, сложил все в корзину и запросил немалую цену. Никаких вопросов о том, откуда мы и почему, которых я так боялась. Небрежность во взгляде. Через некоторое время зазвенел колокольчик на двери, вошла жена крестьянина и улыбнулась нам и моему животу. На голове у нее были уложены венчиком соломенные косы, ее звали мать Анна, жила она во Флуре, ее младшенький, когда пора настанет, пойдет в школу вместе с нашим ребенком в животе, ведь малыш родится еще в этом году? И какой забавный диалект, вы никак из Вермланда? Так много вопросов, и я сразу захотела уйти. Армуд перебросился с ней еще парой слов, прежде чем мы повернули обратно. По пути туда бутылка стукалась о края корзины, но по пути обратно она лежала неподвижно, окруженная пакетиками с колбасой, мукой и крупой, банкой меда, аккуратно упакованной солью и небольшим кульком кофе. Кофе. Как давно я о нем мечтала, но никогда не покупала. Армуд сидел, прислонясь спиной к стволу ивы и пил самогонку – по глотку. Я смешала кофе с рожью – слишком малым количеством, я знала, что так он скорее закончится, но, когда я отпила из своей кружки первый глоток, вкус показался мне божественным.

А потом мы снова кинулись умирять землю. Мы согрелись и вспотели, мышцы набухли от тяжелой работы, земля сопротивлялась, когда мы пытались приручить ее. Земля не любит приспособливаться. Это мы, мы приспособливались к ней, но не потому, что хотим, а потому что должны. Лосевый навоз, заячья капуста, изгрызенные тела животных, птицы с распахнутыми к солнцу крыльями – все наше, ничье, всех.

Лето в лесу. Иногда шел дождь, но нас не смыло, мы выстояли. Я посадила землянику. Ты научился ходить, Руар, подходил ко мне с грязными ручками и мокрыми поцелуями. А по ночам наши инструменты отдыхали, и вы с Армудом лежали рядом со мной. На твоём лице можно было прочесть, что тебе снится. Если было холодно, я укрывала тебя своим одеялом, согревала своим телом. Солнце окрашивало ночь вокруг нас в светло-сиреневый оттенок, я не спала вместе с Армудом. Когда он смотрел на меня, я прикладывала пальцы к его запястью, ощущая, как несется кровь по его жилам. Уголки рта у него подергивались, когда он был счастлив. Потом я проводила пальцем по его подбородку и ощущала, как колется его щетина. Его глаза были открыты, я могла заглянуть прямо ему в душу.

– Я хочу тебя, Унни, – шептал он.

И я отвечала без слов, что тоже хочу, хочу его. Перед тем, как заснуть, я вкладывала свою ладонь в его, и там она помещалась идеально. Его дыхание пахло яблоком и петрушкой.

Когда светлое северное лето подошло к концу, мы очень устали. В моем саду появился шиповник – Армуд выкопал куст у заброшенного торпа в часе ходьбы на восток. У нас не было денег и не было серебра, но, Руар, мы показывали тебе цветки шиповника, и глубокий лес, и лесных птиц с птенцами, ты указывал на них пальчиком и смеялся.

Армуд брал мешок с едой и свои инструменты и уходил еще до восхода солнца. Вместе с овсяной кашей я проглатывала свою тревогу, ощущая, как утро холодным ветром влетает в щель, прежде чем мой муж закрывает за собой дверь. Он уходил в лес работать на крестьянина, а, когда день заканчивался, стучал в соседние дворы, спрашивая работы. От него пахло разгоряченным рабочим телом, когда он приходил домой – улыбаясь, как бы ни устал.

– Ветер в лицо и сегодня, Унни!

В первое время случалось, что любопытные жители деревни проходили мимо нашего дома под предлогом, что собирают чернику или заячью капусту. Один пожилой человек даже помнил предыдущих владельцев. Он отметил все, что мы залатали и поправили, все никак не мог уйти, подходил и щупал.

– А, вот сразу слышно, – прервал он Армуда, когда тот заговорил. – Стало быть, правда, что вы пришли аж из Норвегии.

Брат у этого мужчины работал на железной дороге – он перебрался в другую сторону, на запад, живет теперь в Норвегии.

– Железный Андерс, так мы его называем, когда пишем друг другу – мы, братья и сестры, кто остался здесь. Он строил железную дорогу, которая начинается к западу от Эстерсунда и идет до самой Норвегии. Там он и остался. А вы из каких мест в Норвегии будете?

Эстерсунд.

Оттуда рельсы проложены до самого родного Тронхейма. Я посмотрела на Армуда. Никто из нас не проронил ни слова. И тут из дома донесся детский плач, ты упал и ударился, Руар.

– Из Кристиании! – крикнула я через плечо и побежала в дом.

Когда через некоторое время я вышла, мужчина уже ушел.

Какое облегчение, когда настало время урожая, и все занялись своим делом. С урожаем нам повезло. Кусты были усыпаны ягодами, а картофельная ботва выросла низкая, дав большие клубни. Некоторые картофелины дали до двенадцати клубней, так что, если зима выпадет мягкая и весна ранняя, нам, вероятно, удастся сохранить материал для посадки на следующий год. Мы собирали горох и ягоды. Вытягивали из земли пропитание и складывали сокровища в домике, который стал нашим домом, на границе между дикой природой и обработанной человеком землей. Все это мы будем поедать с радостью, пока запасов хватит. Морковь не успела толком вырасти, но тебе она нравилась, и авось она тебя питала.

– Исё! – говорил ты, протягивая пальчики, и я разваривала до мягкости новые морковки.

Только добрые, мягкие лучи солнца проникали в нашу кухню, остальные я не пускала. В те дни, когда в моем котле тушились овощи, по всему дому разносился божественный запах, возвещавший, что мы заснем сытыми.

Я собирала яблоки, быстро срывала терносливы, пока они не попадали. Скоро с деревьев осыпалась листва, земля лежала пустая, потрескавшаяся. Ягодные кусты были обобраны, у деревянного туалета не осталось ни одного побега крапивы. Мир стал серо-коричневым. Цвет ожидания новой весны. Живот мой становился все больше, а пустые поля вокруг показывали, что скоро подступят зима и холода. Ландшафт все еще имел мягкие очертания, но вскоре его осветит резкий осенний свет, а потом все станет черно-белым.

Армуд рубил мелкие кусты, а я сушила их на зиму, он уплотнил самые большие щели вокруг окон. Мы бегали туда-сюда по двору, торопясь изо всех сил. Жена крестьянина из Рэвбакки одолжила нам несколько разномастных чашек и три фарфоровых тарелки с синими цветочками и отколотыми краями. В сарае мы обнаружили деревянный стул с изогнутыми

ножками и облупившуюся табуретку-стремянку, когда-то синюю – в обмен на дополнительный труд они стали нашими. Одна новая ступенька, и табуретка стала как новенькая. Словно муравьи протаптывали мы тропинки в лесу. Словно бобры обрабатывали дерево. Когда Армуд начал делать нам кухонный стол, весь наш дом пропах смолой – помню, как этот запах смешивался с запахом дыма и готовящейся каши. Перед Днем всех святых мы впервые смазали стол маслом. И все эти ветки, молодые деревца и поваленные деревья, которые Армуд порубил на дрова. Лишь на мгновение я позволила себе посидеть на поваленном дереве, глядя на лес и на мужчину, которого ты называл папой. До сих пор вижу перед собой эту картину: лезвие топора блестит, когда Армуд широко размахивается им над головой. Он тяжело дышит. Пот блестел на теле, под кожей набухли жилы. Видно было, что он давно не ел досыта, но его это не огорчало. Таким я его помню.

Крыша была залатана еще до того, как ласточки стали летать высоко, и дождь забарабанил всерьез. Мы уплотнили и крышу дровяного сарая, так что дрова были защищены и могли просохнуть. Долгий выдох в тот вечер: скоро ляжет снег, мокрый и тяжелый, как свинец, но мы будем спать в сухом месте. Однако многое еще предстояло сделать: стены дома предательски пропускали внутрь зиму. Иногда я доставала свечу и ставила на наш кухонный стол, когда становилось темно – Армуд тщательно разжигал фитиль, и ты видел, как взметался огонек и смотрел на него большими глазами. Сквозняк, который будет холодить нас ночью. Я сшила занавески, чтобы не пускать холодный воздух, но он все равно просачивался в дом. Спать я ложилась в тепле рядом с Армудом, в запахе его теплого трудового тела, при звуке его голоса, но каждое утро просыпалась от леденящего холода. Станет еще холоднее, настанет зима, и мы войдем в 1898 год, а потом впервые будем наблюдать в нашем новом доме приход весны. Мы с Армудом завернули тебя еще в одно одеяло, улыбаясь дрожащему пламени. Стены надо будет уплотнить, причем в ближайшие дни.

Две кружки на кухонном столе каждый вечер, обращенные друг к другу, словно в танце. При сумеречном свете я вышивала цветы и монограммы, а Армуд при помощи слов и рук создавал свои истории, если находились силы, но случалось, что он весь дрожал от усталости. Я клала ладонь поверх его руки, пока ребенок у меня в животе укладывался в тепле поудобнее. Кожа на пальцах у Армуда была сухая и потрескавшаяся. Несмотря на усталость, он улыбался мне.

– Скоро пламя свечи перестанет дрожать. Все щели в твоём доме будут заделаны, он станет непроницаем для дождя и ветра, как яйцо, так что тебе с детьми всегда будет тепло, пока ты захочешь оставаться здесь.

Так и вышло. И, когда я жарил еду, а едкий дым ел мне глаза, я думала, стоя среди всего это чада – раз дым не выходит наружу, то и холод с сыростью не проберутся внутрь.

Уже близилась зима, но дни все еще оставались длинными, ночи все еще дарили обещания. Магия струйки пара от того дорогого покупного кофе на рассвете. Дым из трубы – другая дорогостоящая струйка. Дождь, стучавший по крыше, а между одеял – два огненных тела, пока ты спал. Ты был еще такой маленький, бродил на своих толстеньких младенческих ножках по уснувшей траве, волосы у тебя на голове торчали во все стороны, как пух одуванчика, и мы все трое улыбались. Первое время мы спали на полу, на еловых досках. Ночь за окном служила нам покрывалом, украшенным тысячами крошечных светящихся точек. Когда ты засыпал, мы с Армудом укладывали тебя на постель из нашей одежды, рядом, но чуть в стороне. Мы проводили ладонями по телу друг друга. Армуд осторожно снимал с меня верхний слой, пока я не оказывалась рядом с ним совершенно нагая. Уж и не знаю, в каком часу ночи мы засыпали, но просыпались всегда от сквозняка на полу – еще до того, как свет снаружи проникал в окна. Глядя на своего Армуда и на тебя, я думала: вот это настоящая жизнь, и такой она останется.

Кора

Одиночество среди нас

Бриккен – как мебель, которую невозможно заменить. Она сидит там, где сидела всегда, откуда всегда правила комнатой, и домом, и всеми нами. Похоже, тетка переживет нас всех, как отложения грязи на ступеньках, ведущих в кабинет доктора Турсена в Сёдерхамне в моем детстве. Как окаменелость. Руар был молод, повзрослел, состарился, я точно знаю, что он умер. Когда я в первый раз повстречалась с Бриккен, ей не исполнилось еще и пятидесяти, но она с тех пор мало изменилась. Те же карие глаза, те же взгляды, та же несчастная меховая шапка. Круглое лицо, как у кошки, темные волосы днем убраны, но ложатся на спину как накидка, когда она распускает их перед сном. Тонкие морщинки вокруг глаз и рта, следы событий или дождя, текущего по оконным стеклам. Иногда суровая и минорная, в следующий момент – другой человек, смех и безудержное веселье в каждой фразе, переплетения слов, как украшения на свадебном торте. Столько часов мы просидели здесь, глядя друг на друга. Она вязала крючком прихватки, а мне хотелось вывалить ей на голову тушеное мясо из горшка. Хотя и мне случалось испытывать в этой кухне радость до полного изнеможения. Юбка задрана, а на мне мужчина, не принадлежавший мне. В те минуты ее здесь не было. Небось, и не думает об этом – что кухня показывает ей лишь часть своих воспоминаний. Дерево под клеенкой почернело от грязи и времени, стол такой старый, что никакие чистящие средства не помогают. Следы того, как дети кололи его вилками в иные времена, как небрежно откладывались в сторону инструменты, как нож для хлеба входил в дерево за завтраком в зимней темноте, все скрыто под скатертью. Много не видно в этом доме.

Совсем недавно Руар был здесь, с нами. Мой свекор, глаза у которого были цвета грозового неба. Кофе он пил с блюдца, вприкуску, как Бриккен, но держал кусок сахара между зубами. Может быть, потому, что он жил в перестроенном бедняцком домике, или же потому, что в верхней челюсти у него отсутствовало несколько зубов – уже когда я увидела его в первый раз.

– Некоторые пришлось вытащить, а еще парочку я оставил у камня на развилке, еще когда был мальцом, – говорил он.

Он имел в виду тот камень на полпути к деревне, после которого ты начинал идти более легким или более тяжелым шагом, в зависимости от того, какой у тебя выдался день. Единственный камень. И даже не такой большой по сравнению с другими.

Когда в дом переехала я, Руар и Бриккен оставили себе свои комнаты на первом этаже, а мы с Дагом поселились на только что пристроенном втором. Большая кухня, гостиная, оклеенная обоями с медальонами и покрашенный золотой краской альков с узеньким окном в сад. Даг покрасил кухонные шкафчики в унылый серый цвет, но зато у меня в кухне имелась кладовая, а у нее нет. Будущий муж поставил мне в кухне ужасно шаткие стол и стулья, но их я могла заменить. На пол я положила тряпичные коврики из родительского дома, а потом сидела в полосе солнечного света и согревалась. Здесь будет наш дом. Хотя Даг постоянно болтался туда-сюда, как вскоре выяснилось. Эти трое, прожив вместе целую жизнь, стали так похожи друг на друга. Одинаково склоняли голову над утренней газетой. Одинаково шурились, улыбаясь друг другу. С одинаковой радостью на лице наклонялись, покачиваясь, и тянулись за дарами леса, белыми грибами и лисичками. Здесь, на лужайке в лесу, у них была своя стая. Я же оставалась жиличкой. Помню, как тянуло сквозняком по полу на моем этаже, помню, какой большой шаг мне приходилось делать с лестницы, чтобы сразу ступить на тряпичный коврик, избегнув ледяного пола, помню, как подтягивала ноги под одеяло по вечерам, прячась

от холода. Зимой холод поселялся в наверху под самой крышей, которую построили мой свекор с несколькими рабочими с лесопилки, никакой особой изоляции, так что через некоторое время мы все равно вынуждены были спуститься вниз и сидеть в кухне Бриккен и Руара.

Помню, как ее глаза впивались в меня, когда она входила в дом с холода, как морщины вокруг глаз и рот напоминали солнечные лучи, когда она улыбалась и снимала с себя эту дурацкую барсучью шапку. Возвращаясь зимой из леса, наши двое лесозаготовителей выглядели как персонажи из сказки. Они работали бригадой с несколькими другими, в первую очередь из соображений безопасности. У каждого по мотоциклу, по металлической коробке с едой. Руар был бригадиром, Даг у него на подхвате. Перед тем, как войти в дом, они отряхивали с себя снег, но в одежде прятался мороз, и оба были покрыты изморозью, с сосульками в бровях и щетине на подбородке. Руар давал Дагу первому ступить в тепло. Закрыв за собой дверь и повесив одежду на крючок, он обычно потягивался, словно только что проснувшийся охотничий пес.

Поначалу Даг иногда гладил меня по спине, так что напряжение в мышцах смягчалось. Я смотрела на него и улыбалась. Тогда я обычно делала это искренне – до того, как задумалась над тем, какие у него невыразительные глаза. Однажды он так крепко прижал меня к своему холодному лицу – мне показалось, что мое сердце превратится в комочек льда. Кажется, он даже ничего не сказал, разве что «привет». В этом смысле он был хорош – простой, говорящий на простом языке. Был немногословен, не умел красиво говорить. Ему хотелось кончать несколько раз в неделю, и чтобы на столе ждала еда. Не больше и не меньше.

– Я проголодался.

Вот так он мог сказать. Просто и ясно. Банально и обычно. И мне хотелось бы стать такой.

«Будь проще, – шептала я иногда себе самой. – Ходи обычной походкой. Кивай, когда здороваешься, давай краткие ответы, иногда улыбайся, не слишком широко, не слишком часто, будь обычной».

Отец и сын были такие разные. Даг подолгу чесал затылок, ему приходилось объяснять по много раз. Руар был из тех, к кому обращаются за советом. В нагрудном кармане он носил потрепанный блокнот с записями погоды на каждый день, цифрами и списком дел. Всего за несколько дней он мог решить целый сборник кроссвордов. Я наблюдала за ним, когда по вечерам он с сосредоточенным видом сидел в своем кресле в комнате. Самая страшная рыба – клювач, мельчайшее цветковое растение – ряска. Задачки из области естественных наук он шелкал, как семечки.

– Толковый, – говорил о нем мой отец.

Мы с Дагом были парочкой. Руар принадлежал Бриккен. Иногда я видела, как он обнимал ее одной рукой и целовал в лоб. В такие минуты она сияла. Казалось, они понимают друг друга без слов – я следила за ними, когда он подтягивал брюки повыше на животе, а она уже заранее знала, что это произойдет, знала, что потом он всегда проводит пальцами по пряжке ремня. Когда она шла в кухню, он точно знал, какой шкаф она откроет и закроет. Они могли застыть, обнявшись, прямо посреди комнаты. Лоб ко лбу, веснушки к веснушкам, словно отражение в зеркале. Живое, постоянно пульсирующее сердце. В такие минуты я чувствовала себя лишней.

Это было давно. Теперь Руар умер. Кухонное окно приоткрыто, занавеска покачивается на августовском ветерке. Поднимаясь, Бриккен отталкивает ножки стула назад, так что тряпичный коврик сворачивается в трубочку. Меня бесит, что она так делает, но она не замечает. Закрывает окно, словно догадываясь, что я мечтаю вылезти в него и убежать. Идет в комнату, опираясь на свою палку из металла и пластика.

– Куда ты идешь? Что собираешься делать?

Едва задав вопрос, я желаю, что спросила.

– Сейчас приду.

Как обычно – никакого ответа. Бесчисленное количество вопросов повисло в этом доме, не находя ответа. А еще больше таких, которые так и не были заданы.

Как мы трепали коврики в этой кухне, сколько ходили туда-сюда в этих стенах. Все те годы, когда я расправляла уголки ковра на кухонном полу или наступала мимо ковра, так что занозы впивались в подошвы. Пол с половицей, которая всегда сердито скрипела, когда приходил гость, не знавший, как правильно войти. Она привычно откликнулась, когда на нее ступали знакомые ноги. Под ногами Дага она издавал вздох, напоминающий глубокий выдох, ноги Бриккен половица до сих пор встречает тихим поскрипыванием, похожим на шепот. Когда Руар наступал на половицу, она посмеивалась. Я никогда не задумывалась, как она звучит под моими ногами. Наверное, фальшиво. О некоторых вещах мы здесь не говорим, хотя нас услышали бы только сова да лиса. Супница должна стоять на средней полке в шкафу – не припомню, чтобы я когда-нибудь видела ее на столе. Что-то не так со ступкой цвета плесени – я вижу это по глазам Руара, когда он случайно бросает на нее взгляд. И со мной, конечно, что-то не так. Не все можно выносить на свет. Больше полувека я ходила здесь в одних чулках, фабрикуя ложные воспоминания – как оно могло бы быть, должно бы быть, рассказывала их докторам и всем вокруг, кто желал послушать. Теперь я уже и сама едва разбираю, что должна помнить, что действительно помню, а что придумала и солгала. Вероятно, половина этого мне почудилась. Немалая часть – ложь.

Я слышу, как Бриккен возится в комнате. Она собирает бумаги, оставшиеся после Руара. Налоговая, похоронное бюро, банковские и пенсионные документы, страховка – все свидетельства, все конверты большой кучей у нее в руках, когда она снова садится за стол. У этого стола его большие горячие ладони лежали на клетчатой клеенке. Она что-то бормочет по поводу того, что не может найти – так много в этом доме всего, спрятанного в дальнем углу ящика, в сарае, за пачкой с хлопьями в кухонном шкафу. Я думаю о камнях, о царапинах, обо всем том, что мы не говорим друг другу.

– Ты не могла бы помочь мне разобраться с этими бланками, Кора?

От бумаг на пол ложится тень – темные контуры, словно тайны. Ее глаза впиваются в меня, они похожи на каштаны, и я хочу, чтобы она отвела взгляд. В Индокитае заключили мир, а тут...

Я не хочу здесь находиться.

Я слишком труслива, чтобы носить все это в себе. Не только про Руара, но и про все остальное. Я всегда была посредственностью. Не такая сообразительная, как Бриккен в детстве, не особенно умная. Не такая красавица, как она, хотя и не дурнушка. Лишь тусклые каштановые, чуть выющиеся волосы – отдельные волосины торчат во все стороны. Заурядное, приятное и незапоминающееся лицо, которое даже можно назвать хорошеньким. Грудь как неспелые ягоды крыжовника. Вот это я в молодости. Вероятно, размер обуви у меня был больше, чем у большинства, а мечты поменьше.

Может быть, страхи у меня более пугающие. По крайней мере, мне так казалось. По крайней мере, я чувствовала себя куда моложе своих трех старших сестер, и трусливее младшей. Когда Лива бежала впереди меня по зеленому лесу, ища укрытия от дождя, мне хотелось зажать ей рот рукой, чтобы не дать словам вылететь наружу. Серые тени над нами, когда мы сидели под елкой в тот летний день – ветки защищали нас, словно крыша, и сестра с самым серьезным выражением лица рассказывала мне о смерти и привидениях. Глаза сияли в темноте, как прожекторы, а руки повествовали не меньше, чем губы: Лива придумывала, вспоминала, преувеличивала и добавляла от себя. Вероятно, это наследственный талант.

– Нельзя ходить босиком, достаточно самого мелкого гвоздика. Помнишь Матса, сына Сигне? У него началось заражение крови, болезнь добралась до сердца – и конец. Или если сам гвоздик дойдет до сердца. Умрешь на месте.

Фантазии у нее были такие красочные, но во мне они разбивались и становились серыми, как глина. Сначала щекотало в животе – вероятно, от страха или от зависти, что она сама не боится. Потом по позвоночнику проползали темные пауки. Сердце стучало, как барабан, тело покрывалось липким потом, мне хотелось повернуть время вспять. Лива запихивала в рот соломинку, сидела, спокойная, как ни в чем ни бывало. В сумерках под ветками она походила на скелет.

– Помнишь луг рядом с пастбищем, где ты обычно собираешь цветы? Там ты можешь случайно споткнуться о коленную чашечку.

На меня накатывает тошнота, в животе все сжимается.

– Однажды там батрака затащило в комбайн, куски разбросало по всему полю. Пальцы его собрали, а коленные чашечки так и валяются. Хотя знаешь, еще хуже в психушке в Норрфлю, где в подвале толстые двери. Оттуда никто еще не выходил, так мама сказала. Это недалеко отсюда, они взяли туда поломойку из типографии в городе, а ты такая трусливая, что тебя они точно могут забрать навсегда.

– Нет! – прошептала я.

Еще до нашего рождения мама работала в доме престарелых над психушкой, слышала приглушенные звуки из подвала, видела, как людей тащат туда – и они оттуда не возвращаются. Ниже уровня земли она, конечно же, никогда не спускалась, целыми днями ходила между расставленными ровными рядами кроватями стариков на хорошо организованной конечной станции, но ей известно было про щели, через которые можно подсматривать. Грязные люди, влачащие свое существование под землей. Они кричали, когда их тащили туда. Убогая жизнь на потертом деревянном стуле. Мама видела, как мужчина, относивший психам еду, выходил на солнце с остановившимся взглядом. Я помнила наизусть ее слова, сказанные в тот раз, когда я не решалась вылезти из-под стола – или это было, когда я боялась сесть на лошадь.

– В самом дальнем углу подвала комната без окон, – проговорила она. – Ты хочешь попасть туда, Кора, и видеть людей, только когда тебе приносят еду и лекарства?

В ту минуту я ее ненавидела.

– Нет! – повторила я, сидя под сосной – маме, Ливе, сидящей рядом, самой себе.

Сестра придвинулась ко мне. Сердце у меня стучало, ноги похолодели. Меня тошнило, руки казались холодными, как ледышки, хотя я сидела на них. Никогда больше не решусь пройти босиком по лугу! Через одеяло меня пробирало холодом от земли. Лива с блестящими глазами продолжала говорить, а я думала, что более всего хочу засунуть голову ей под кофту. В ту же секунду она поднялась и выскользнула наружу между ветками, чтобы пописать. Ушла, небрежно волоча ноги – как всегда, оставив меня одну. Платье у меня прилипло к телу, ледяная капля упала на затылок с какой-то ветки надо мной. Во рту у меня пересохло, язык стал шершавым, как у животного, губы не желали расслабляться, сколько бы я ни облизывала их. В груди стучало. Я крепко зажмурилась, подтянула плечи к ушам, стиснула зубы, чтобы они не стучали. Все вокруг вращалось. Я уносилась прочь от лошадиной попоны, становясь все меньше и меньше. Улетала в космос, растворяясь в нем.

Меня больше не существовало.

Запах мокрой шерсти, когда моя младшая сестра снова залезла под елку. Глаза сияют, губы смеются. Ее соломенная коса плюхнулась рядом с ней.

– А знаешь, Кора, я сейчас видела зайца среди камней, когда писала, а еще знаешь что – я вся промокла до нитки, хотя вылезла всего на несколько минут.

Я забралась под лошадиную попону, завернулась в нее и прислонилась головой к корню дерева. Попона была жесткая и влажная, пахла застарелым потом – резкий запах смешивался с ароматом еловых побегов и мха. Кажется, именно тогда сестра рассказала мне об Овчарке – сторожевой собаке и тайном оружии Красной Армии.

– Она огромная, весит *девятьюсто* килограмм! – заявила Лива. – Но сама понятия об этом не имеет: она выросла в овечьем стаде в горах Кавказа и считает себя овцой. Настоящая пастушья собака. Овчарка смирная, как ягненок, и очень мужественная.

Я подобралась поближе к ней.

– Ради своего хозяина Овчарка готова загрызть кого угодно.

Лива перешла на шепот.

– Она сливается с суровым пейзажем, бежит среди своих подруг-овец, но оберегает их, всегда подозрительная, всегда настороже: если ее стаду угрожает хищник, она мигом сбрасывает с себя овечью шкуру. В бешенстве защищает себя и своих, рвет нападающего на куски и пожирает падаль.

Вот какой я хотела быть. Мечтала сама стать Овчаркой или же иметь рядом с собой такую, которая любила бы меня больше всего на свете. Если бы такой гигант встал между мной и жизнью, оскалив зубы! Я оглядывалась, ища среди теней надежную мохнатую бело-коричневую собачью шерсть, но нет, не видела тяжелого звериного тела, больших лап, пристальных глаз, охраняющий меня.

Когда закончился дождь, над лесом повисло по-летнему белое солнце. Настала такая погода, когда хорошо идти по бревнам, балансируя на каждом шагу, и прыгать с шершавых камней, когда земля теплая под ногами. Хватит разговоров про монстров и дыры. В сторону дома я шла по лесным тропинкам вслед за сестрой, словно став ее тенью. Мясо без костей. Полная бесхребетность. Шла следом, лаская землю позади нее. Плыла по течению.

Хотя в то время я лгала гораздо меньше.

Лива прыгала вперед, когда куда-то стремилась. Сама я спотыкалась, так что окружающие косились на меня. Мама говорила, что у меня сердце снаружи, что у меня слишком тонкая кожа, взгляд обращен вглубь себя.

– Врожденная уязвимость, – говорила она отцу. – С девочкой что-то не так.

Конечно, она не рассчитывала, что я услышу. Я хрупкая, как тетушка Гурли среди маминной родни в Сёдерхамне.

Тетушка Гурли.

Которую увезли.

– Не переживай, Магда, – ответил отец. – Ей не повредит побольше ответственности, и все наладится. Лес, скотина и поля – прекрасная почва, на которой произрастает забота и спокойствие.

Мне хотелось быть муравьем и иметь прочный хитиновый панцирь как защиту от окружающего мира вместо того дрожащего комочка желе, которым я была. Муравьем или отважной собакой, вот кем я мечтала стать, но ни того, ни другого не получилось. Вместо этого за мной по пятам, словно бездомная паршивая лиса, бесшумно следовал тонконогий страх. Он хотел, чтобы я погладила его, терся о мои ноги, желая, чтобы я взяла его на руки и объявила своим. Хотел, чтобы я втянула воздух в легкие, словно в последний раз, зажмурилась и прислушивалась к оглушительному биению сердца, сжав кулаки, так что косточки побелели. Если бы у меня была любовь Овчарки! Когда я нуждалась бы в собаке, она готова была бы кому угодно перегрызть горло, встала бы передо мной в спокойной готовности.

Позднее случалось, что именно так она и поступала.

Когда я была ребенком, она появлялась нечасто. Тогда моя жизнь иногда натывалась на мертвую птицу, на острую иглу, на детей в школе, когда я отвечала неправильно, или на тетку с корзиной в деревне – ту, которая тарасила глаза и недолюбливала меня. Овчарка мне тогда не помогала. И чем больше остальные шептались о том, какая я трусливая и странная, тем больше страх сжимал легкие. Меня пугали лица взрослых, говоривших о нашем местечке Одален неподалеку от городка Мармаверкен. И еще когда мужа кузины парализовало из-за тромба – тогда все собрались в комнате и шептались о нем, а на лица падали тени из окна.

У него было двое маленьких детей.

Кажется, муж кузины потом умер. По крайней мере, вполне мог.

Смерть, она такая странная. Я наблюдала ее десятилетиями. Вот человек есть. Он дышит. Говорит. Потом меняется, исчезает. Его больше нет. К этому невозможно привыкнуть. А вот сижу я, в теле почти таком же, как у умершего, но по-прежнему дышу. Мои мысли заносит то туда, то сюда – в таком же хаосе, как узор на столешнице Бриккен, которую ей подарили на семидесятилетие. Назло Бриккен я беру последний кусок сахара, хотя обычно пью без него. Она лишь молча поднимается, достает пакет с сахарным песком и насыпает в сахарницу. Если бы я поднялась и швырнула в нее хотя бы половиной правды, она раскололась бы, как старое блюдо под цветочным горшком. Ее обожаемый Руар. Даг – ее сын и мой муж. Я вдыхаю через нос и выдыхаю через рот. Выдыхаю насмешки, стыд и вину, всех людей, показывающих мне средний палец, заполняю себя мыслью о том, что я Унни. Я могу. Но ничего этого я не говорю Бриккен, которая прочно сидит на своем стуле, наблюдая за мной через стол. Она вглядывается, ища трещины в моем фасаде. Чего-то ждет. Меня?

Летнее солнце нащупывает меня через разрыв в кроне дерева за окном, запекает правду как пирог – снаружи твердая корочка, а внутри жидкая начинка – пока он не начинает пригорать. Деревья ближе к лесу качаются на ветру. Крепкое сильное тело Руара на фоне мха и кипучей жизни.

Унни

Зимнее цветение и летнее солнце

Ясная звездная осень в Хельсингланде, голая земля, холода. Когда живот стал большим и тяжелым, я передала Армуду мудрые советы знахарки Бриты. Поделилась с ним знаниями, укоренившимися во мне в первые вечера у нее, когда мне еще не исполнилось и восьми, и я подслушивала, лежа в постели. Поделилась всем, что она передала мне, пока я не научилась делать все наравне с ней, при ранах и боли, при зуде и угрозе жизни. Я не рассказывала обо всех опасностях, только о том, что надлежит делать, с благодарностью думая о том, как многому успела научить меня целительница до того момента, когда она умерла, а ты родился, Руар. Армуд без колебаний согласился мне помогать, воспринял это легко и естественно, как и все остальное, за что брался, но когда схватки стали частыми и мощными, я увидела, как он поник и растерялся, серьезность момента потрясла и его. Не помню боли, помню лишь, как она исчезла, сменившись страшным давлением вниз во всем теле – и ощущением, которое мне уже довелось испытать однажды. Время пришло. Я чувствовала, как расту, занимая все больше места в комнате, зная: я так сильна, что сосуды лопаются на лице. В комнате поселились разные запахи. Запахи тела, мощной силы и протухшей воды. Когда ребенок закричал, у меня было такое чувство, словно я своими силами добралась до самой вершины высокой горы. Все было залито светом. Наша семья встречала совершенно нового человека. Так удивительно, что голова кругом. Настоящее волшебство.

Туне Амалия.

У моей новорожденной дочери были спутанные волосы, широкие скулы и узенький маленький подбородок. Лицо сердечком. Когда я погладила ее кончиками пальцев по затылку и спинке, она сразу успокоилась. Я постелила ей в корзинке, и там она спала, мое прекрасное дитя, с кругленькими ступнями, темными ресницами и розовыми щечками. Ты, Руар, лежал, прижавшись ко мне в нашей постели на полу, посасывая палец, по-прежнему напуганный всеми звуками и криками, которые я издавала. Веки твои дрожали, когда ты засыпал – может быть, тебе снился гигантский ящик, полный картошки и яблок, так что их хватило бы до весны. Или ты мечтал проснуться утром, не ощущая сквозняка по полу. Через несколько недель после родов Армуд построил кровать из досок, которые нашел и которых никто не хватится. Она подняла нас на новый уровень, в тепло, выше сквозняков, и там вы, детки, лежали, слушая его воспоминания о былых странствиях. По вечерам мы все забирались под шкуры и больше не ощущали, как холод пробирается под одежду, скользит вдоль позвоночника. Когда вы засыпали, я дышала в рот Армуду, и все вращалось вокруг нас, только мы двое оставались неподвижны.

Я любила просыпаться от хныканья Туне Амалии, любила кормить ее грудью в кровати, уткнувшись носом в нежный пушок у нее на макушке, наблюдая, как Армуд бреется перед треснувшим зеркалом. В обычном случае оно лежало в деревянном сундучке в углу вместе с бритвой, но в те дни он вынимал его и пристраивал на стене при помощи двух гвоздей. Как раз в том месте, где ему приходилось стоять, чтобы хорошо себя видеть, так красиво скрипела доска в полу.

– Никогда не привыкай к безобразному, – сказал мне как-то Армуд.

«Никогда не привыкай к прекрасному, – думала я теперь. – Пусть оно каждый раз кажется таким же прекрасным».

Он поставил зеркало, прислонив его к стене («скрип!»), подался вперед, чтобы посмотреть у себя под носом, возле ушей, на подбородке («скрип!»), отступил назад, чтобы проверить, не пропустил ли пару волосков («скрип!»). Ты, Руар, стоял, держась за брючину Армуда, глядя

на него снизу с самым серьезным видом, а когда Армуд закончил, вы вместе уложили бритву и зеркало в мою красивую шкатулку. Ты старательно убрал пальчики, когда Армуд захлопывал крышку – в точности, как тебе сказали.

Пока Армуд переходил от одного дела к другому, твоя взъерошенная шевелюра обычно покачивалась где-то рядом с ним. Ты помогал ему с морковью, ты гонялся за шмелями или строил башню из поленьев – малыш, растущий в собственном надежном доме. Я любила тебя, а Армуд любил меня больше всего на свете. По крайней мере, так я думала, пока не появилась на свет твоя сестра. Когда он говорил с ней, его голос таял, как масло. Он гладил ее по голове и смотрел на нее, как околдованный. Пушок у нее на голове в мягких лучах осеннего солнца оттеняла черная щетина ее улыбающегося, потного отца – и оба они были частью меня. Его взгляд, которым он смотрел на нее, был каким-то совершенно новым. С тобой тоже все стало по-другому, Руар, я понимала это. Меня это не тревожило, ведь мы все одна семья.

– Никто другой мне не нужен, – шептал Армуд, уткнувшись носом в ее затылок. – Вы моя стая.

Починили крышу, а за ней и дровяной сарай, и кухонный диванчик. Армуд работал так, что пот с него тек ручьями, несмотря на холод. На рубашке пролегли черные круги пота под мышками – сегодняшние и других дней. Следы пота не отходили, когда я вываривала нашу одежду, но что с того; мы с Армудом снова собирались идти работать и снова потеть всем телом. С лесом надо уметь ужиться. Тот, кто восстает против природы, терпит поражение.

Иногда на дворе у меня мерзли руки, но когда я входила в дом, непогода оставалась за дверью. Она следила за нами снаружи, окна запотевали от влаги и жира, когда я готовила еду – внутри образовался наш собственный тайный мирок. Стоило мне прищурить один глаз, как дорога, ведущая в деревню, совсем размывалась, словно наш дом был единственным на свете. Здесь только мы, окруженные белыми березами – нашими стражами, охраняющими наш покой.

Некоторое время спустя – черное, как подвал, зимнее утро. Замерзшие луга и пастбища. За дверьми под кожу проникала стужа, желавшая нам зла, но в доме дрова и ветки высохли, и несколько охапок лежали при входе. В доме пахло смолой. Воздух в доме был плотный, теплый и обожженный открытым огнем. Звук твоих неуверенных шагов по полу. Сперва пятка, вес на одну ногу, потом на другую. Я напевала вам песенки о лесных зверях.

И вот выпал первый снег. Свободный день! Не надо тревожиться по поводу тяжелых сосен. Вся стая собралась под небом и снежинками! Армуд только что оделся и взял инструменты, собираясь уходить. Ты, мой Руар, сидел на кухонном диванчике в уголке, который привык считать своим, а Туне Амалия лежала у меня на груди теплым комочком. Глаза у нее блестящие, как у Армуда, и теперь блеск этот объединял обоих. Армуд громко засмеялся. Плотнее запахнув куртку, он вышел наружу огромными шагами. Через окно мы с тобой наблюдали, как он уронил свой молоток в снег и пустился в пляс среди падающих снежинок. На его каштановых локонах искрился снег. Он смеялся, глядя на нас, и махал тебе, чтобы ты вышел и потанцевал с ним.

По утрам снежное покрывало украшали следы вороньих танцев в нашем саду. Вскоре холод обхватил со всех сторон наш теплый дом. Армуд рассказывал тебе о людях на лыжах, которые взлетали в воздух на несколько сотен метров на горе Хольменколлен, описывая их так красочно, словно они въезжали прямо в нашу кухню. «Я видел, как они выныривали из самых облаков и приземлялись на склоне прямо передо мной!» Ты улыбался, глядя на снег, который таял, а потом снова возвращался, капал с крыши и снова выпадал. Скользкие камни, мокрый мох. Суровое небо. По утрам бочка с водой у угла дома покрывалась тонкой корочкой льда. Временами небо развращалось и принималось хлестать нас ледяным дождем, так что одежда промокала, покрывалась сосульками, холод забирался под кожу и не желал уходить. Армуд насвистывал и поглядывал на кроны деревьев, как обычно, только теперь они были голые. Он

был несгибаем, удивительный отец, который раз за разом рассказывал о землетрясении возле Хагамарка, о долгом шторме 1875 года и о торговце карамелью Свартбаккене, который убил насмерть молодого человека в собачьей шубе и попал за это на эшафот.

«Палач схватил окровавленную голову Свартбаккена и поднял высоко над своей головой, ветер стал трепать косматую голову, так что кровь потекла, и мы с моими братьями своими глазами увидели, как мертвая голова скрежетала зубами!»

Слушаю эту историю, ты каждый раз вопил от страха и восторга, а вот я нет, ибо помнила, что у нас есть свои палачи. Внешние напасти еще можно было вынести, острые снежинки в лицо, растаявший снег в ботинках. Страшнее всего был голод, ожидавший нас.

Даже на самых белых стволах берез есть черные пятна. Поздно мы с Армудом пришли в этот дом. И хотя мы сложили целую стену из камней, от которых загрубели его ладони и разболелась спина, мы все же не успели вырастить достаточно пропитания. Однако он продолжала подбрасывать Туне Амалию высоко в воздух, продолжал гоняться за тобой по двору, ел то, что у нас оставалось, словно завтра у нас будет еще. Когда ты не видел, я отбирала у него кусок хлеба. Он пытался забрать его назад, щекотал меня, нападал на кладовую, думая, что я дразню его. Я держала дверь, спрятав кусок хлеба за спину.

– Нам с тобой придется потуже затянуть пояса, – говорила я.

Он разводил руками, глаза его улыбались, высматривая улыбку в моих глазах.

– Армуд, перестань!

Наконец его взгляд стал серьезным.

– Той провизии, которую мы запасли, на зиму не хватит. Нам придется от многого отказаться, чтобы накормить Руара.

Осознание серьезности нашего положения пригвоздило его, словно свинцовый якорь.

Больше мне нечего было сказать.

Он стоял передо мной, странник Армуд, который в любой момент мог меня оставить, но остался с преступницей и подписал контракт на отработку. Сожалеет ли он об этом?

Без еды человек умирает.

Не то, чтобы мы мало работали. В кладовке стоял целый ящик с репой, а рядом корзина с мелкой картошкой, которая могла бы вырасти побольше, будь наше лето подлиннее, но все равно могла нас напитать. Только недостаточно долго. Я все считала и пересчитывала. Есть два типа людей, которые не пускаются в расчеты: богатые и сумасшедшие. Так что я проверила свои расчеты еще раз, пересчитала и проверила снова. Ответ всегда получался один и тот же. Все чаще я замирала у двери кладовки, не сводя взгляда с пустых полок. Все чаще во рту появлялся вкус кислой отрыжки и мокрой варежки.

В домашнем полумраке твои детские глаза, Руар, постоянно следили за нами, так что мы с Армудом старались держаться мужественно. Мы покупали в долг, улыбались, стискивая зубы, стоя в очереди позади матери Анны и других, а потом тихо спрашивали, разгладив усилием воли черты лица. Во власти торговца оставалось ответить «да» или «нет». Нам он отвечал «да». Потому ли, что он считал Армуда человеком основательным, потому что такое у него было настроение или потому, что «да» всегда могло смениться словом «нет»? Я не знала, почему именно – знала только, что у торговца на руках все карты, что он могущественнее пастора в Трондхейме, может диктовать свои условия, выбирая цену и качество для каждого покупателя по собственному разумению. Солнце всходило из его пупка и заходило за пояс брюк, и единственное, что его волновало – это местность вокруг его лавки и его деньги, так сказала мне однажды мать Анна, когда мы с ней вместе вышли из его двери.

– На него не стоит обращать внимания, – сказала она.

Но как я могла не обращать внимания? Помню, как однажды он подсыпал нам в муку столько мела, что ты, Руар, мог рисовать ею на стенах. Мы с Армудом принесли все это домой, испекли хлеб, прожевали и съели. Жаловаться не приходилось. Вот это он нам выделил, и

нам оставалось лишь надеяться, что мы сможем продолжать есть этот хлеб с пылью. Торговец властвовал беспредельно. Ты либо получал, либо не получал. В любой момент удача могла отвернуться от нас.

Так и случилось.

Без предостережений, без ручательств. Мне казалось, что мы уже достигли предела, заглянув в лицо нужде, но все еще только начиналось. В тот день, когда все рухнуло, я осталась снаружи, беседуя с тощей рослой женщиной из деревни, пока Армуд зашел в лавку – женщину звали Юханна. Поначалу, когда она подошла ко мне, я испугалась, что она начнет расспрашивать, но она говорила сама, рассказывала и давала советы, не ожидая ответа. Козы жевали траву, плясая на нас. Нам с Армудом надо было собрать грибов, сказала Юханна, когда я рассказала, что меня тревожит зима, но к этому моменту под снегом и мокрыми листьями не осталось ничего съедобного.

– Грибы всегда можно высушить, чтобы зимой варить из них суп, но в этом году уже поздно.

Каждое слово, срывавшееся с ее губ, она сопровождала кивком головы, а я стояла и пыталась улыбаться, как всегда, когда испытывала тревогу. Люди с их разговорами и вопросами всегда вызывали у меня это чувство – я боялась, что меня выведут на чистую воду и отправят обратно. К седому пастору с большим воротником. К клетке, которая отвезет меня в Тронку. Мне трудно было отвести взгляд от двери лавки, откуда вот-вот должен был появиться Армуд.

– Найдете грибное место – охраняйте его. Пестрый гриб-зонтик со своей тайной деланки полезен и съедобен, но если на нем маленькие белые точки, можно отравиться. Лисички тоже можно собирать, они бывают желтые или желто-коричневые, их легко засушить – важно только не перепутать их с паутинником и ложными лисичками. А лесные шампиньоны и рядовку голубиную можно есть, если у них под шляпкой ровные белые пластины, но не с чулком, запомни это! Если съешь гриб с чулком, то умрешь. Чтобы высушить грибы, лучше всего...

Голос Юханны зазвучал словно издалека. Через ее плечо я увидела Армуда, выходящего из лавки с корзиной, болтающейся на руке. Заскрипели петли, губы Юханны продолжали двигаться, но я уже все поняла, едва взглянув на Армуда. В глазах у твоего отца застыло выражение паники. Человек, которого я так хорошо знала, стал непохож сам на себя. Он подошел ко мне с совершенно потерянным выражением лица – на нем читался страх. Я кивнула на прощание женщине в самый разгар ее объяснения и пошла за ним в сторону дома, не говоря ни слова. Он смотрел прямо перед собой, твердо и ритмично шагая вперед. Ни слова, но я и так догадалась, как все произошло. Как он стоял, теребя в руках картуз, дожидаясь, пока лавка опустеет. Подошел к прилавку, откашлялся, прежде чем спросить – глядя прямо в лицо, но склонив голову. На этот раз торговец сказал «нет». Вероятно, это было негромкое «нет», но оно отдалось эхом, словно выкрик. Или же он просто выпалил это своим лошадиным голосом.

– Больше кредита не будет. Ты уже столько взял, что дальше тебе и не расплатиться.

Вот и все. Своя рубашка ближе к телу. Торговец наверняка едва взглянул на него, только пресек одним жестом все вопросы, указал на дверь и отвернулся к полкам, заваленным товарами. От Армуда отмахнулись, как коровий хвост отгоняет мух.

Никакой муки в бумажном пакете. Никакой крупы. Никакого кусочка жира в железную коробочку. Торговец поправил воротник и ушел в кладовую за лавкой, прежде чем Армуд успел хоть что-нибудь сказать. Когда дверь кладовой закрылась за всемогущим человеком, в лавке стало совсем тихо – только тиканье часов на стене да тяжелое дыхание голодного мужчины, охваченного тревогой.

Я буквально вижу перед собой, как Армуд склонил голову, стоя в лавке, посмотрел на дно пустой корзины. Потом вышел ко мне с покрасневшими глазами. Мы молча пустились в обратный путь. Идя по одинокой проселочной дороге, мы молчали, и только у камня на полпути, прежде чем выйти на лесную тропинку, Армуд нашел слова утешения.

– Не волнуйся, Унни! – сказал он и провел ладонью по моей щеке. – Есть много причин для тревоги, но тревожиться нет смысла. Назад мы вернуться не можем, так что пойдем вперед. Будем думать по-новому. Фантазию нельзя укротить.

Фантазию. Всю картошку нового урожая мы уже давно доели. Скоро и картофельная шелуха закончится. Тогда нам придется начать есть картошку, оставленную для посадки, другого выхода нет. Мука с толченым мелом убывала, и мешок все больше проседал на дощатом полу, пока мы дожидались прихода лета. Мы жарили без жира, кормили детей размоченным в воде хлебом, сказками и надеждой, листьями, сваренными в растопленном снегу. Горечь в горшке на печи, горечь в воздухе. В предутренних сумерках Армуд сидел в засаде с ножом в руках и прислушивался, но у зверей чутье оказалось лучше, чем у него. Они знали, что он караулит их, ощущали его голод по запаху. Ни один из них не подошел достаточно близко, чтобы его можно было достать ножом и превратить в еду для наших детей.

– Мама, что бывает, когда люди не едят?

Ответа ты не получил.

Вскоре голод навалился на всех нас. Первый снег мягко положил свою руку нам на плечи, порадовав снежинками, но зима не бывает мягкой и доброй. Зима – это промерзшая земля, голые ягодные кусты и мертвые поля. Доченьке не хватало моего молока. У сыночка глаза стали большие-большие. Под глазами у меня появились мешки размером со сливу, как бывает, когда ночь слишком коротка, ветер слишком резок, а животов так много и все они пусты. Я рвала сердце Армуда своими словами. Так бывает с любовью – она не набирает силы в голове или в сердце, если ничего не растет в животе. Когда в тебя вцепляется голод, любовь обращается в лохмотья. Тощие муравьи жалят особенно больно.

Холодная, белая вечность за окном. Армуду все труднее давались слова, руки бессильно опускались на колени. Я подмешивала в муку солому и кору, чтобы нам всем хватило хлеба, но кладовка уже почти опустела. Слишком много коры подмешала я в то, что называла хлебом, подала тебе твердые сухие комочки, и ты разжевал их и съел, но твой желудок не справился с такой едой. В ту ночь ты так отчаянно плакал, Руар! Соленые разводы на твоих щеках спускались до самой шеи.

– Без еды у меня болит живот! – кричал ты. – А с едой он болит еще больше. Что мне делать, мамочка?!

И вот настал день, когда в доме остались последняя луковка и два кочана капусты. Ни одного жалкого кусочка хлеба, запрятанного в деревянном ларе. Суп с каждым днем становился все прозрачнее – сквозь него я видела дно. Очистив последнюю луковку, я осторожно разрешила половину капустного кочана на тонкие-тонкие полоски и следила за ними, когда они опускались на дно горшка на печи. Несколько дней спустя, понимая, что я своими руками отнимаю у нас будущее, я помыла несколько мягких и сморщенных картофелин, оставленных для посадки, и порезала кубиками прямо в кожуре, чтобы не потерять ни единой крошечной частички. Пока картошка варилась, я стояла и смотрела на воду, осознавая, какой ценой куплен этот обед; по весне нам дорого обойдется картофель для посадки.

Если мы доживем до весны.

Страх – обнаженный, как вываренные кости. Я видела его в глазах Армуда, а он в моих. Тяжесть, давящая на плечи. Недавно пробудившаяся в нем тревога. Но он всегда успевал вытереть щеки рукавом, пока никто не увидел. Взгляд у него был твердым, губы легко складывались в улыбку.

– Держись, Унни! Нет смысла переживать попусту.

Мы сновали между стволами, выполняя каждодневные дела. Путь к лучшим временам.

С приближением Рождества голод стал усиливаться. Скромный рождественский ужин в выходной Армуда, потом мы прокрались в деревню, рассчитывая подпитаться праздничной атмосферой, но здесь дети не наряжались и не пели рождественские песни, как у нас дома.

Пока вы, дети, сосали сосульки, отломанные от края крыши, я достала из мешка последние остатки муки. После этого мой горшок стал пуст, как барабан. Блестящие, таящие бриллиантами капли воды на ваших губах: это все, что у вас осталось, когда вы доели остатки хлеба. Каждый день, вернувшись из леса, Армуд проходил многие мили, ища работу за еду, но чаще всего возвращался с пустыми руками. По утрам, уходя из дома, он плотно сжимал губы. Блеск в глазах пропал, лицо посерело, он улыбался понарошку. Произносил:

– Все так, как есть, и ничего не поделаешь.

Так все и было, и по-другому не могло быть.

У меня не оставалось сил волноваться за Армуда, когда его не было – я даже радовалась, что он не приходит домой. А вдруг ему удалось найти себе работу, и он принесет нам что-то поесть? Туне Амалия не получала достаточно молока, стала хрупкой, как высохшая веточка. Черты лица растаяли, торчали одни скулы. Моя дочь стала похожа на человечка из палочек – неужели мне не дано больше гладить пухленькие детские щечки, целовать толстенькие ручки с перетяжечками? Резкий запах залежалых фруктов. Так пахнет от ребенка, который голодает. Временами я открывала сундук в углу и смотрела на шкатулку со снадобьями. Проводила рукой по красной крышке. Благодаря тому, что хранилось в ней, я могла бы заработать денег, накормить своих детей. Но я пообещала никогда больше этого не делать. Из-за меня мы оказались здесь. Так что я набралась мужества и пошла в Флуру, нашла ухоженный торп матери Анны и постучала. Ведь больше я никого здесь не знаю. Когда она появилась в дверях, надежда у меня улетучилась еще до того, как я открыла рот: под передником у нее выступал живот, округлый, как головка сыра. Она посмотрела на меня сурово, сразу поняв, зачем я пришла, прервала меня, едва я заговорила, сказав, что нет, ей и без того тяжело со своими. Наверняка она могла бы дать мне хоть что-нибудь, но, конечно, не хотела, чтобы я прибегала к ней снова. Покажи бездомной собаке хоть чуточку любви, и она от тебя не отстанет. С пустыми руками я возвращалась домой через лес, и даже деревья повернулись ко мне спиной, у них своих забот полон рот.

Мы с Армудом стали шипеть друг на друга. Однажды вечером я вытолкала его вон, когда он вернулся, не принеся с собой еды.

– Пойди дальше, раз в округе тебе отказывают! – прошипела я сквозь зубы. Смотрела на него так, словно желала изрезать ему кожу. – Пойди на юг, пойди на восток к морю, пойди на север и иди целую неделю. Мне все равно, куда ты пойдешь. «От этого нет никакого толку», – всегда говоришь ты мне, и нет никакого толку в том, что ты приходишь домой, не принеся нашим детям еду!

Он склонил голову, не проронив ни слова. Я увидела кости, проступающие под рубашкой, когда он снова натянул крутку и двинулся вниз по дороге. Я не сказала «на запад», и мы оба знали, почему. Туда мы не могли пойти – из-за меня. Хотя я сожалела о своих словах до рези в животе, что-то мешало мне побежать за ним. Ярость рвалась наружу, желая бить, кричать, обвинять – первого, кто попался под руку.

Но что если он пойдет своей твердой ритмичной походкой и никогда больше не вернется? Если отправиться странствовать дальше, как делал до нас? Догнав его и положив руку ему на плечо, я увидела, что он плачет.

– Прости меня, Армуд!

Он провел кончиками пальцев по моей щеке, долго молчал.

– Я не это хотела сказать.

Обхватив его обеими руками, я прижалась лицом к его шее, почувствовав через одежду, какой он костлявый. Тогда он тоже крепко прижал меня к себе.

Ты наверняка не помнишь этого, Руар, но в тот вечер мы ели вареный мох, который Армуд выкопал из-под снега. У тебя уже не было сил залезть на стул со ступеньками в кухне, мы с Армудом посадили тебя на твое место за столом и наблюдали, как ты жуешь. Тебе было уже

почти два года, но ты выглядел таким маленьким – и вместе с тем постаревшим. У Туне Амалии стали такие большие глаза. Костлявые коленки, острые локти. Жалобное попискивание, когда мы ложились спать по вечерам. Во сне ты жевал воздух – я слышала это сквозь сон, лежала, крепко-крепко прижав тебя к себе.

Ничто не может длиться вечно, но как закончится эта зима? Помогли бы нам, если бы мы поближе сошлись с кем-нибудь в деревне, завязали узы, стояли б и болтали с другими на церковном холме по воскресеньям? Он пытался – местный пастор с крахмальным воротничком, вспотевший до корней волос, пока добрался до нас по лесной дороге. Но ему пришлось уйти ни с чем, по-другому не получилось. И не только потому, что меня тревожили распросы – пасторы и церкви стояли у меня поперек горла, я не могла заставить себя даже взглянуть на белое оштукатуренное здание. Если нас не заберет Тронка или пастор, то тогда возьмет голод. Да и какая разница, кто именно.

Я положила сушиться замерзшие листья и ветки – когда из них выходил мороз, они начинали капать друг на друга. Сколько бы я ни варила их, из них редко получался бульон или что-то питательное. По утрам Армуд уходил из дома, сгорбленный, как старик, а возвращался истрепанный, как тряпка. У нас не осталось сил на то, чтобы прикасаться друг к другу. Когда наши тела покрылись шерстью, я поняла, что дни наши сочтены. Скоро я не смогу кормить грудью.

Мы, взрослые, избегали смотреть друг на друга. Больше не говорили друг с другом – сказать было нечего. Кожа свисала на теле. Настоящий голод – ни с чем не сравнимое чувство. Когда тебе нечего есть, дни кажутся такими длинными. Мир снаружи затихает: когда стараешься экономить силы, не позволяешь себе лишнего движения. Вы, дети, стали такими тоненькими и прозрачными, кожа собралась складками, угас разум, ваши лица покрылись жесткими волосинками.

Пустые глаза. Туне Амалия что-то бормотала себе под нос, лежа рядом со мной – кожа да кости. Рассказы Армуда истощились, он умолк. Кончики пальцев у тебя и Туне Амалии растрескались, на ваших тоненьких телах слоями сходила кожа. У меня выпало два зуба. Когда начал опухать живот, я поняла, что конец близко. Я посмотрела на тебя, Руар – ты перестал разговаривать, у тебя не было сил даже сесть. Казалось, одно дуновение ветра – и наши жизни угаснут, как свечи. Потом я взглянула на Туне Амалию, ее взгляд встретился с моим из запавших глазниц. Внутри у меня все похолодело, когда я увидела, как от голода у моей девочки вздулся живот, стал большим, натягивая одеяло.

– Туне Амалия! Туне Амалия, моя пчелка!

Ее тельце было вялым. Она больше не плакала, не отзывалась на мой голос.

Неужели она умрет?

Вероятно.

Каждая минута окрашивалась неотвратимым.

Смерть вселилась в наш дом.

Когда Туне Амалия увидела, как снегирь ударился в наше окно и упал на землю, было близко к тому, чтобы ни у кого из нас не нашлось сил подняться и сходить за ним. Она устремила свои усталые глаза к окну, а потом попыталась встретиться взглядом с нами, но только ты, Руар, услышал стук о стекло и обратил внимание на взгляд своей сестры. Сама я в тот момент сидела и смотрела в пустоту. Армуд сидел, закрыв лицо руками, тяжело дыша. Я заметила, что ты зашевелился и что-то крикнул, но не нашла в себе сил повернуть голову, чтобы посмотреть, что случилось. Ты снова крикнул и указал пальчиком:

– Он разбился!

Только тут мы, твои родители, словно очнулись от сна. Пятно размером с монету на оконном стекле указывало: что-то случилось. Я вдохнула, но не более того. Армуд тоже поднял

глаза, стараясь сосредоточить на окне затуманенный взгляд. Потянулся, оперся на кухонный стол, чтобы подняться. Принеся мертвую птицу и отдав ее мне, он стоял и покачивался, как травинка на ветру. Красивые птичьи перья. Сломанная шея. Закипятив воду в котле, я наспех ошипала птицу и опустила в кипяток прямо с ногами и головой. Черные и красные перья посыпались к моим ногам. Снегирь варился, пока все мясо не отделилось от костей. Туне Амалия и ты получили по чашке бульона, пока птица доваривалась в котле.

– Вкусно! – проговорил ты. – Очень вкусно.

Сестричка согласилась с тобой.

Мы честно поделили между собой еду на крошечные порции, добавили растаявшего снега в котел к оставшемуся бульону и выпили. Армуд тщательно обтер все с краев котла и дал тебе. Мы, взрослые, съели и кости тоже. Тонкие птичьи косточки хрустели на зубах, когда я жевала их, царапали горло при глотании.

Во всем мире ненашлось бы ничего вкуснее, чем тот снегирь. До сих пор помню этот вкус, помню запах – и как мы смогли посмотреть друг другу в глаза, когда проглотили последние кусочки. Вы, дети, улыбались, и заснули без слез, снегирь жил дальше у вас в груди. Армуд прислонился лбом к моему плечу и сидел, словно в полусне, потом выпрямил спину и вышел, чтобы накопать мышей. В тот день он не нашел ни одной, но на следующий день принес в мешке целое гнездо, а я отыскала под снегом веточки брусники, которые тщательно обшипала. Скелеты крошечных мышей хрустели на зубах, как сухари, а ты осторожно доставал из стакана с водянистым киселем одну ягоду за другой и тщательно разжевывал. Твои зубы засияли, как жемчуг, когда ты снова начал смеяться. Досыта мы не наелись, но мы выжили.

Талые воды смыли остатки сомнений и пробудили в нас обоих яростную решимость. Зимние почки ивы смотрели на нас с голых ветвей. Она зацвела раньше всех, гора почек устремилась к солнцу.

Разбуди другие деревья, ива!

Поскорее собрать ее пушистые семечки. Я делала фитили для свечей, сохраняя их на потом. Из прутьев я сплела большую корзину для картофеля, который мы вырастим за лето на самой большой грядке. Еще до того, как мерзлота ушла их земли, Армуд начал остервенело выкапывать камни из картофельных гряд – каменная кладка росла и росла как монумент его любви к нам. От огромных камней, уходящих под землю, у него так разболелась спина, что он несколько недель не мог спать. Он трудился ради нас. Ибо без земли и еды мы бы умерли. В самые трудные вечера я кипятила воду, клала в нее пучок ивовой коры и оставляла настояться. Он выпивал, это облегчало боль, приходил сон. Что-то властное, зовущее повисло в воздухе, когда деревья наполнились соками, и Армуд построил вокруг дома забор, призванный защищать нас от голода. Словно голод можно удержать за забором. Забивал гвозди, не отдыхая ни минуты. В дальнем углу он оставил прореху в заборе для домового и кошки, которой мы обзавелись только двадцать лет спустя. Туда тоже полагалась доска, но в тот момент у него осталась всего одна, а она нужна была ему для более важного дела.

– А у вас, дети, будут свои качели, висящие на яблоне!

Так он и сказал, а ты громко рассмеялся от счастья.

– Я научусь летать, отец!

– Ты обязательно научишься летать. Руар, обещаю тебе. Мы все полетим.

Качели уже были готовы. Армуд долго сидел на камнях, шлифуя доску песком, но повесить ее он собирался только следующей весной, когда Туне Амалия вырастет большой и не упадет с качелей. На этих качелях вы будете раскачиваться все детство, ощущая, как ветер треплет волосы и одежду. На них вы будете взлетать к небу, когда вас раскачает отец, чтобы увидеть, как высок лес, почти дотронуться до верхушек деревьев и снова улететь. Вы не при-

вязаны к земле. Что значит недостающая доска в заборе в сравнении с такой свободой? Через эту прореху мои мысли порой ускользали прочь.

Майский ветер. Наконец-то потеплело. Дом изменился. Стал пахнуть сухими досками и разогретой на солнце смолой. Вы, дети, ели сосновые побеги, пока не заболит живот. Однако мы радовались этим побегам: они означали, что вскоре самое плохое останется позади. В гнездах пищали птенцы певчих птиц, а у нас была одна мысль: съесть их, как мы съели их отца. Я шла на их писк, пока не нашла гнездо. Прости, воробышек. Твои детки спасли моих. Когда весна вступила в свои права, я принялась собирать все живое, что могла найти вокруг: мы ели побеги и личинок, я делала кашу на березовом соке, хлеб на березовом соке, пиво на березовом соке. Вы, дети, пили его, словно это был волшебный напиток. Плечи Армуда были по-прежнему напряжены, когда он поднимал вас к веткам, по которым вы потом будете лазить, и давал вам по трубочке, вырезанной из свежих побегов ивы, росшей у нашего дома. Ты играл на своей случайные звуки, а Туне Амалия просто сосала свою трубочку.

Вы, дети, забыли о голоде, словно его никогда не существовало, да и Армуд тоже. Из старой наволочки, двух планок и веревки он сделал вам воздушного змея – как вы полюбили эту забаву! Благодаря синей монограмме на наволочке змей выглядел по-королевски. Армуд научил вас, как поднимать его в воздух. Ты, Руар, бегал босиком вместе с ним по дороге, ведущей в деревню, а змей парил над вашими головами почти под самыми облаками. И вот наконец настало лето. Да еще какое! Стало тепло, все вокруг зацвело и стало стремительно расти. Как радостно было видеть детей, ползающих по нагретому солнцем дощатому полу. Наши лица снова порозовели. Даже ольха могла себе позволить не жалеть воды и ронять ее с кончиков листьев. Поначалу мы ставили на стол кислицу и еловые побеги, потом капусту и лук с салатом из свежесобранных одуванчиков. Армуд нашел дополнительную работу, позволившую ему частично оплатить долг торговцу, мы снова могли пополнять нашу корзину в лавке, и однажды вечером вы, дети, не допили молоко, оставив чуть-чуть на дне своих чашек. У вас были солнечные улыбки, загорелые летние ноги. В первые недели все мы мечтали о яблонях в цвету и солнечном свете, поднимали лица к солнцу, не желая пропустить ни секунды из того, что происходило вокруг нас. Но солнце возвращалось, день за днем, и скоро мы привыкли, что светлое и доброе с нами надолго. Казалось, Армуд стряхнул с плеч все, что тяготило его. Солнце танцевало на острие его бритвы, отбрасывая золотые блики на деревянные стены с дырочками от сучков и на его щеки.

Запах готовящейся еды в доме, закопченные жиром окна. Я позвала вас в дом, оторвав от бабочек и мелких птиц, вы уже успели наесться жареной рыбы и малины, когда Армуд принес двух полевок, пойманных на картофельном поле. Мы смеялись и качали головами. Туне Амалия достала пальчик изо рта и улыбнулась. Вы запели детскую песенку, и мои юбки покачивались в такт мелодии, пока я пыталась выветрить чад и убирала со стола.

Жара нарастала. Оплата торпа требовала каждодневной работы, и каждый день я приносила Армуду обед, видя, как, женщины, потев на солнце, собирали лен на бескрайнем голубом поле. На нашей поляне солнце осторожно пробивалось сквозь ветки деревьев, как через сито, но на полях жара водопадом обрушивалась на потные тела. Ярко-голубые цветы льна торопили людей, напоминая о долгом пути от льняного зернышка до тканой простыни. Мне довелось слышать о женщине, которая после того лета не выносила голубой цвет.

Армуд ставил силки на голубя и белку, но добычу приносил редко. Зато мы вдоволь наедались жареной рыбой, лакомились лесными ягодами и дикими яблоками. Армуд был опытным рыболовом, но соль стоила дорого, и сохранить рыбу надолго не удавалось. В глубине души я надеялась, что прольются дожди и разбудят к жизни грибы, о которых рассказывала мне женщина из деревни по имени Юханна.

Палящее солнце. Трава выцвела, стала коричневой, овощи пришлось снять и съесть до того, как они выросли. Рыба спряталась от жары на дне озера, и вскоре даже ночная рыбалка не приносила удачи. Все медленнее текла вода в ручейке, подпитывающем наше маленькое лесное озерцо – силы изменяли ему. Еда за дверьми торпа иссохла. Как раз в тот момент, когда наша кладовка должна была наполниться заново, она внезапно опустела.

Мы доели последнюю луковку.

Последний кочан капусты.

Питались пустым супом из плотвы и съедобных листьев.

Лето ждалось: бесконечная засуха, гнетущая тревога. Мы замедлились, выжидая – новости, которая как удар кулаком в живот. Но вместо этого на меня, словно снежинки, мягко спускались отчаяние и покорность судьбе. В этом году урожая не будет. Прижавшись головой к плечу Армуда, я почувствовала, как он обнял меня. Наблюдая, как вы, смеясь, играете на солнышке, мы, взрослые, посчитавшие наши запасы в кладовке, расплакались. Смех отзвенел, вы снова начали худеть, хотя только что отъелись. Ты стал таким худеньким, Руар. Личико у Туне Амалии стало серым – голод украл все краски. В ее глазах читалась безысходность взрослого человека. Я надолго уходила из дома, ища дрова, ягоды и грибы, а когда возвращалась с дровами, но чаще всего без ягод и всегда без грибов, вы поворачивали ко мне свои головки с открытыми ротиками, словно клювики у голодных птенцов.

Проникнув сквозь оконные стекла, солнце согревало локоны Туне Амалии. Но от этого нежного прикосновения солнечных лучей сыт не будешь.

И вновь мы стоим с обрывками мха в руках перед глухой судьбой, которой нет дела до таких, как мы. Дом – это такое место, где постоянно гремят посудой. Когда еда кончается, предметы тоже замолкают. Дом – это такое место, где мы смотрим в глаза друг другу, сидя за столом, который построил Армуд. Но как сидеть вокруг пустого стола? Не так мы себе это представляли. Голод рвал нас изнутри. Птицы на полях. Птицы в кустах. Птицы, кружащиеся над крышами домов. Все они искали, чем бы поживиться – в точности как мы. Нам приходилось постоянно чем-то заниматься, чтобы не давать волю мыслям, но при этом беречь силы. Я собирала цветки сирени с коричневым кантом на кусте у дровяного сарая и вставляла Туне Амалии в волосы, но это ее не питало. Иногда я видела, как она вытаскивает крошечные цветочки и ест их.

Застывший неподвижный воздух, как перед грозой, но дождя не было – на землю не упало ни капли. Жара и засуха. Невыносимое солнце, шуршащие сухие стебли травы. Зной сдавливал нас, сил не осталось совсем. Жара продолжалась, не заканчивалась. Трава пожелтела, обнажилась земля – лежала, не прикрытая, на глазах людей и животных. Я всегда держалась особняком, но наблюдала со стороны, как даже те, кто обычно помогал друг другу, сейчас отделились и стали словно чужие. Юханна, любительница грибов, смотрела на меня диким взглядом, когда мы сталкивались там, где должны были бы расти лисички. Бывшие друзья дрались, валя друг друга на землю, из-за упавшей с телеги репы. Кто-то обвинял соседа в том, что тот съел его собаку. Деревня рассыпалась, распалась на части, так что я избегала всех еще больше, чем обычно. Вместо былого единения – сборище людей, бродящих в поисках еды. И снова своя рубашка ближе к телу. Я думала о той боли, которую мы однажды оставили позади. Теперь она снова догнала нас.

– Армуд, что будем делать?

Ответа я не получила.

Мы выбились из ритма. Возвращаясь домой с пустой корзиной, я издалека, еще на подступах в «Уютному уголку», слышала голос Армуда: он кормил вас рассказами о приключениях и путешествиях. Раз за разом ты просил рассказать тебе снова о том февральском дне,

когда фигурист Аксель Паульсен разбогател, оставив далеко позади голландского соперника на блестящем льду залива Осло-фьорда.

– Он несся с такой скоростью, дети! Самый быстрый человек на льду всех времен и народов! Ваш земляк, конечно же.

– Папа, расскажи что-нибудь страшное!

Тогда он округлял глаза, говорил, что только что освободился от работы на вырубке леса в полудне пути от дома, когда увидел, как пароход «Идале» потерпел крушение и пошел ко дну ясным летним днем. Я замерла на полушаге.

– В тот день утонуло тринадцать детей!

Ты, Руар, боялся даже дышать.

– Так что берегитесь глубокой воды, дети!

Вы буквально онемели, а я продолжила свои дела. Я никогда его не спрашивала, хотя этот вопрос до сих пор не дает мне покоя. Эта потребность рассказывать, вызывать восхищение. Может быть, он тоже от чего-то бежал – и лишь умело скрывал свои тайны за всеми этими историями.

Изможденная фигура среди подернутой коричневым зелени, он искал подпитку во всем – в фантазиях, в лучах солнца, и щедро делился с вами. Сама же я уже не могла притворяться, становилась все более замкнутой и злой. Без дождя не будет еды. Не будет влажного запаха жизни. То, что мы посадили, не взойдет. Ручей в лесу теперь превратился в узкую струйку, скоро он совсем пересохнет. Резкий запах пота из подмышек, но все труды напрасны. Животы урчат и бурчат. Кишки страдали без еды, но еды не было. Как мне не хватало запаха готовящейся еды, от которого когда-то было так трудно избавиться! И полевок, которых мы не пожелали съесть – какими вкусными они показались бы сейчас, сваренные с можжевельниковыми ягодами!

– Что нам делать? Как быть? Скажи, Армуд!

Его губы – словно сухая ветка.

– Скажи ты. Ты ведь тоже можешь что-нибудь придумать?

Он отвернулся от меня. Мы стали гнить изнутри – мы, люди. Нам предстояло пройти испытание, и мы его не прошли. Сны становились все ощутимее, а сон все труднее было отличить от бодрствования. Главное отличие заключалось в том, что бодрствование было болезненным и мучительным. Нищета – испытание на прочность длиною в жизнь. Оставшись наедине с лесом, я слышала порой свой голос, проклиная то, что с нами случилось. Отчаяние человека, который на самом деле уже сдался, но пока не нашел в себе силы в этом признаться.

– Ничего не выйдет, Армуд.

Эти слова я произнесла, когда вы не слышали.

– Посмотри на нас! От твоих выдумок и сказок дети сытыми не станут. Что нам делать? Ты можешь сказать мне?

Ответа нет. Никакой реакции.

– Армуд, ответь мне. Скажи хоть что-нибудь. Что нам делать?

– Прекрати!

Он смотрел на меня мрачным диковым взглядом.

– Скажи сама, Унни! Почему ты все время спрашиваешь меня? Что предлагаешь ты? Какие у тебя мысли?

– Я скажу тебе, что я думаю, – ответила я. – Я очень жалею, что послушалась твоего совета и пришла в эту страну, где нет ни еды, ни будущего!

В глазах у Армуда сверкнули молнии.

– Так ты забыла?!

Так громко. Я сжалась в комок. Любовь спряталась в щелях стен, воздух вибрировал от бессильной злости. От его слов вокруг словно бы разверзлось болото, хотя он сказал лишь то, о чем я думала и сама.

– Ты забыла, Унни, что мы здесь из-за тебя, твоей коробочки и твоих растений? Из-за тебя! И из-за пастора, этого черного ворона, чтобы тебя не заперли в трижды проклятой Тронке!

Тронка – это дом для умалишенных в Тронхейме. Прежде, чем Армуд успел сказать еще хоть слово, я рывком распахнула дверь. Бежала по тропинке прочь от ее узких казематов и запертых дверей, бежала прочь из дома, от страха и голода, от тяжелого дыхания пастора, от грубых рук в темноте. Я спотыкалась между стволами, сбивала ноги о толстые корни деревьев, падала на колени, ощущая вкус соплей во рту. Уткнувшись лицом в землю, в белый мох, поглотивший мой голос, я закричала, словно вскрылись мои гноящиеся раны. Никто не услышал меня, а, когда я обернулась, эхо уже стихло. Кожа на мне висела, когда я брела обратно к дому – словно унылая траурная повязка на теле. Из дома до меня снова донесся голос Армуда – он снова рассказывал о том, как погибло судно его дяди, о том, как его отец строил железную дорогу в Эльверум, и взял с собой его и его братьев, чтобы посмотреть, как отрубят голову торговцу карамелью Свартбаккену. Да есть ли у него вообще братья? Как мало я о нем знаю. Трое детей, предающихся фантазиям посреди высохшей пустыни. Зимние цветы и летнее солнце – умереть от голода можно круглый год.

Кора Корабль или тюрьма

– Из цельной сосны?

Она перелистывает описания различных гробов, откашливается так, что воздух дрожит. В саду с глухим стуком падает с дерева яблоко, обычно мы собирали их, делали варенье и мармелад, но в этом году не получилось. Много всего произошло ближе к концу, но Бриккен не видит. Мне приходится напоминать себе – шторм после того, что я сделала, бушует только внутри меня.

– Да, – отвечаю я, уткнувшись взглядом в стол. Может быть, мне следовало ответить по-другому?

Сосна подойдет Руару, не зря у него были охотничьи сапоги и шапка. Все усыпанные хвоей тропинки принадлежали ему, он прекрасно знал, куда они ведут, где прячутся лисички, мог отыскать гнездо кроликов и поймать их голыми руками. Шкура животного на его охотничьей вышке, ворсистая наощупь, казалась такой мягкой при соприкосновении с моей голой спиной. Лес стал его королевством. Не то, чтобы это помогало – вся эта страна королевство, но титулы никого еще не спасли. Как раз сейчас Густаф VI Адольф умирает в больнице, хотя он и король.

Все может покатиться в тартарары – для кого угодно, в любой момент.

Моим проклятием стала моя трусость. Мне было лет семь-восемь, когда я поняла, что дело не только в Ливе. Это случилось, когда я поехала с отцом в Сёдерхамн – выйдя из привычного круга деревьев, тьмы, пустоты, окружавшей деревню. Кажется, он собирался поговорить с кем-то о ценах на рожь или овес. Помню, стоял погожий день, солнце пробивалось из-за белых плотных облаков. Пока мы шли по улицам, казалось, что в городе разом зазвонили все будильники, внезапно зазвучал оглушительный звон, везде люди, быстрые шаги – все куда-то спешат! Безумные глаза, наперегонки с минутной стрелкой. Громкие звуки, странный диалект, быстрая манера говорить. Рычание моторов, звук сигнальных рожков, шарканье подошв по земле. Городские люди. Я пыталась отступить в сторону, постоянно чувствуя, что путаюсь под ногами. Везде – спешащие люди, обходившие мое невзрачное существо, огибавшие меня, словно липкое пятно, к которому не хочется прикасаться. Если я упаду, меня затопчут? На тротуаре в одиночестве стоял мужчина и плакал, я не смогла отвести глаза. Казалось, всем остальным вокруг него не по себе, они избегали смотреть друг на друга, обходили его стороной, в молчаливом согласии делая вид, что его нет – ведь так себя не ведут.

Тогда я впервые увидела тень своей Овчарки – тьму, струящуюся из-за угла.

– Она нашла меня! – вырвалось у меня.

Отец подтолкнул меня впереди себя к дверям, в которые нам предстояло войти, его грубые руки спокойно лежали на моей спине.

– Вперед, малышка Кора, – сказал он мне.

Казалось, он ничего на свете не боится. Я волочила ноги по земле в надежде, что он повторит эти слова.

На обратном пути мы остановились, чтобы захватить соседского Юхана, работавшего в типографии, и подвезти его до дома.

– Папочка, пожалуйста, нет!

Соседский Юхан перенес полиомиелит. Отец что-то говорил про перерыв, табак и клетчатые кепки, хотел заглянуть и поздороваться с ребятами, работавшими в типографии. Звуки множества ног, шуршащих об асфальт, все еще отдавался во мне, когда мы вступили в большой цех типографии. Там царил полумрак. Грохочущие машины, маленькие грязные окошки.

Позади нас с металлическим лязганьем захлопнулась дверь. Покачиваясь на кончиках пальцев, я думала о том, как хромает соседский Юхан – боялась, что болезнь перепрыгнет и на меня, стоит ему только прикоснуться ко мне. Что тогда будет? Меня парализует? Я останусь хромой? Умру? Слова Ливы о женщине, работавшей здесь уборщицей и попавшей в Норрфлю, звучали у меня в ушах, в ногах уже ощущался полиомиелит, перед глазами стояло лицо незнакомца с полосами от слез на щеках, а городские люди обходили нас обоих по широкому кругу.

– Смотри, малышка Кора! – произнес отец, указывая на ящички с набором. – Все знаки мира. Здесь их составляют воедино, как захотел тот, кто написал. Слышишь, какие выдумки клепают с утра до вечера типографский пресс?

Грохочущая ложь. Как я – стало быть, отец догадывается, что я почти никогда не отвечаю правду, когда меня спрашивают, не нервничаю ли я, спокойно ли дышу, не боюсь ли спать в темноте? Именно поэтому он говорит о выдумках? Он заметил, как надрывно звучит мой голос всякий раз, когда я отвечаю на такие вопросы? Он хочет отправить меня в Норрфлю?

Лязганье вокруг нас. Сырой воздух в цеху среди станков.

– Пошли отсюда, – сказала я.

Отец улыбнулся. Тепло его руки распространялось по телу тонкой струйкой, и я сосредоточилась на том, чтобы ощущать это тепло – только его. Грохотание машин. Ложь. Ложь. Ложь. Запах старой бумаги и новой, типографских чернил и канализации. А чуть дальше – запах жареных бобов и перерыва. До меня донесся смех городских людей. Когда я замедлила шаги, отец слегка потянул меня за руку, но его ноги продолжали двигаться вперед в прежнем ритме. Потом он выпустил мою руку. Двинулся дальше, туда, где пили кофе. Холодный ветерок пробежал по моей руке, где только что было тепло. Отец завернул за угол и скрылся из виду.

Сквозь подошвы я ощущала холод пола, в воздухе повис химический запах, а холодная кожа руки уже не помнила тепла отцовской ладони. Словно гигантские пауки, ползли по полу узкие полосы света. Из всех углов и закутков выползали тени, извиваясь у моих ног. У пауков появились волосатые ноги и ядовитые шипы, которыми они пытались дотянуться до меня, сплетаясь с тенями.

В самой черной темноте нет середины, потому что у нее нет ни начала, ни конца. Есть только глухие дебри.

Они навалились на меня со всей силы, вонзили в меня свои острые когти. Стены типографии склонились ко мне. Надо мной нависли машины. Мне хотелось кричать, бежать, свернуться в клубочек, но в ушах у меня звенело, и отдавалось в голове эхом, которое все не желало исчезать. Воздух заканчивался, мне был так нужен дикий зверь. Но никто не стоял рядом, готовый защищать меня.

Грудь сжало словно обручем. Голоса и смех из комнаты, где все пили кофе, улетали прямо в космос, оставляя меня одну, словно меня переехали колеса в резком свете фар посреди дороги. Я приготовилась умереть. Меня подташнивало, прошибал холодный пот. Волосатые лапы пауков тянулись к моему телу. И я сдалась. Лужица на полу подо мной. Ботинки намокли, стали горячими. Между ног потекла струйка, она все стекала по ногам и не кончалась. Резкий запах ударил в нос, когда я закрыла глаза, все закружилось быстрее и быстрее, и я покачнулась. Тело удержало равновесие, но душа улеглась в лужу собственной мочи, да там и осталась.

И в эту минуту в дальнем углу зашевелилась тень. И, хотя она тут же ускользнула, я знала, что это она.

– Овчарка!

Она пришла. Ее появление снова пробудило меня к жизни, я побежала через весь цех, мои шаги эхом отдавались от стен, я с силой распахнула металлическую дверь, которая вела на свободу, и почувствовала, как солнечный свет принимает меня в свои объятия. Дверь типографии захлопнулась, создав непроницаемую стену между мной и страхом.

Колени мои подогнулись, я опустилась на землю. Грудь по-прежнему сжимало, в пальцах кололо, губы онемели, я лежала на камнях, прижав голову к коленям, и дрожала всем телом. В голове бушевало бурное море. И все же – страшное животное Овчарка не тронуло меня.

Всю дорогу до дома я сидела в холодных мокрых трусиках и надеялась, что папа и соседский Юхан не почувствуют, как от меня воняет. По краям дороги кое-где зеленела трава, воздух казался мягким. Тем не менее, меня бил озноб. Я думала о дурдоме в Норрфлю и об огромном волкодаве, проглатывавшем полиомиелит, пауков, предательство и тьму у меня в животе. Узловатые руки деревьев тянулись через канавы, отбрасывая длинные тени. Воспоминания о пауках то и дело подступали близко. Соседский Юхан выковыривал грязь из-под ногтей и вертел в руках свою фуражку. Когда он, откинувшись назад, взъерошил рукой мне волосы, я задрожала. Попыталась улыбнуться, обнажив зубы. Пугливая и паникующая, как курица. Папа расскажет маме? Задержав дыхание, я мечтала о том, как поселюсь в расщелине между камней в самой чаще леса. Ни души, только я, ставшая глазами леса. Мое лицо обращено к небу, капли дождевой воды падают мне в рот. Карельская медвежья собака, знающая меня по имени. В животе у меня корешки, которые я выкопала из-под земли и мха. Когда погода переменится, так что февральские ветра начнут завывать в голых ветвях, так что лес, кажется, вот-вот перевернется вверх тормашками, я легла бы в тепло Овчарки, вплотную к семисотлетней сосне, самой старой во всей Швеции. Никаких «будь веселой», «будь спокойной», «будь послушной». Ни живой души в пределах видимости. Лицо у меня будет блестеть от дождя, а сосны защищать меня, пока ветер не уляжется.

Приложив руки к вискам, я поплакала, пока никто не видел. Потом привела в порядок лицо, так что все следы исчезли.

Сколько унижений. Отчасти и по маминой вине. За неделю до того, как мне должно было исполниться тринадцать, я проснулась от боли в животе – словно кто-то расстелил у пупка тряпку, а потом стал со всей силы скручивать ее. Посреди лестницы на первый этаж я почувствовала, как что-то течет по ногам. Неужели я снова описалась? Писать вроде бы особо не хотелось. Тем не менее, я выбежала наружу и забила в туалет. Капля скатилась по ногам, хотя я вся сжалась. Задышавшись, я накинула крючок. Когда струя ударила в кучу дерьма подо мной, я увидела у себя в трусиках темно-красные комочки.

Кровь.

Никакой Овчарки. Мой первый порыв был позвать маму. Второй – убежать в лес. Но я не сделала ни того, ни другого. Сидела, как пришитая, на деревянном сидении в туалете, уставившись на кровавые комочки. Руки дрожали. Меня тошнило. Что, я умираю? Мама должна узнать. Меня прошиб пот, я сглотнула и последовала ее инструкциям.

Глубоко вдохни через нос и выдохни через рот.

Забив трусики бумагой, я сжала ноги, чтобы удержать ее на месте. В ушах шумело, когда я пошла искать маму.

Стыд, когда она расхохоталась. Сама она всегда говорила, что надо уметь поставить себя в положение другого – а теперь смеялась надо мной. Мне хотелось, чтобы она упала и больно ударилась. Остаток дня я просидела на кровати в своей комнате, умирая от стыда, со спазмами в животе и тряпочками в руках.

Примерно такое чувство у меня в животе сейчас, когда Бриккен перелистывает каталог гробов. Шапка Руара и его охотничьи сапоги стоят у меня перед глазами, когда Бриккен заявляет, что его похоронят в том черном костюме, который он надевал на нашу с Дагом свадьбу – в том самом, который я терпеть не могу. Три десятка лет прошло с той свадьбы, но, кажется, все произошло этой весной, когда я стояла на пороге церкви с Дагом – моей пожизненной страховкой от паники и дурдома. На мне было новенькое, только что сшитое платье, волосы уложены, на шее красовалось бабушкино серебряное украшение. Мне было двадцать два. Волосы Дага

поблескивали золотом, когда он стоял в новой накрахмаленной льняной рубашке и тщательно начищенных ботинках. Как всегда, флегматичный, с запахом табака и мыла. От меня же пахло облегчением и бегством. Подмышки слиплись от пота, но все улыбались, когда мы шли по проходу к алтарю. Руар выглядел так, словно ему тесно – помню, я еще подумала, что ткань костюма пытается усмирить его. Но лицо его было свободным, он прищурился так, что глаза стали похожи на щелочки. Даг сжал мою руку и тоже улыбнулся одними глазами.

Пусть я его полюблю.

Медленно выдыхая, я пыталась усмирить отчаянно скачущее сердце.

За семь месяцев до того наши с Дагом отношения вошли в серьезную стадию. Я ходила с Ливой на пастбище, под звяканье коровьих колокольчиков и ясные звуки манка, которыми призывали животных, тяжелое дыхание, неритмичное постукивание копыт о землю. В тот момент Европа горела, а в деревне гуляли британские моряки, которых подбили торпедой, так что они застряли на севере, но на пастбище было тихо, и мы впервые за долгое время оказались здесь вместе – я и моя сестра, которая теперь все чаще уносилась со двора на своем велосипеде.

– Пошли, Кора, будет весело! Поедем домой, как только ты захочешь, обещаю!

Друг отца видел, как она целовалась с одним из этих моряков на опушке леса, поэтому ей не разрешалось гулять допоздна, только со мной – наверное, поэтому-то она и звала меня. Почти каждый раз, когда она предлагала мне куда-нибудь отправиться, я отвечала, что у меня есть другие дела. Хотя, конечно же, мне хотелось с ней, только бы она не уезжала так далеко, только бы там не было так много народу. Она ездила к друзьям в Ренгшё и Глэссбу – шумным людям, с которыми я никогда не встречалась, с улыбкой выходила на любую танцплощадку, благосклонно реагируя на вопросы незнакомцев. В Ливе не было ничего от тетушки Гурли. Вокруг нее всегда толпился народ, а она стояла среди них с высоко поднятой головой. Я отказывалась. Но в тот вечер, когда я познакомилась с Дагом, она настояла. Тогда я ехала за ней на велосипеде всю дорогу до Бьёртомта, хотя уже стемнело.

Едва мы прибыли на место, как откуда-то повыскакивали девушки-машинистки и захватили ее.

– Привет, Кора! Лива, иди скорей посмотри!

– Лива. Знаешь что?!

Она потянулась, словно кот на солнышке, и уплыла от меня.

– Кора, пошли со мной, или я скоро вернусь к тебе! – сказала она и исчезла.

Я осталась стоять, как столб среди припаркованных велосипедов. Издалека доносились голоса девушек-машинисток, я видела, как они стоят группкой. Они подавались вперед, вслушиваясь, вытягивали шеи, пытались разглядеть, когда кто-то показывал колечко. Скоро Лива тоже пойдет на курсы машинисток, и я останусь на хуторе одна с родителями.

В эту минуту мимо прошел Даг. Он тоже держался чуть в стороне, сторонился толпы. Вертя в руках кепку, он осторожно оглядывался по сторонам. От него веяло спокойствием.

– Мне в лесу больше нравится, – проговорил он.

– А ты где живешь? – спросила я.

Лива исчезла куда-то с одним из братьев из Бокшёна, и не вернулась, когда я захотела домой, так что я попросила Дага проводить меня. Глаза у отца сузились, когда он увидел, что я вернулась без Ливы, Даг поздоровался с родителями, а мама тут же стала накрывать на стол. Когда пришла Лива, я уже легла. Она прошипела, что больше часа искала меня в темноте. После этого она не разговаривала со мной несколько дней, только на пастбище заговорила.

Мама решительно заявила, что после происшествия на танцах Лива будет сторожить коров на пастбище. Она не хотела отпускать меня.

– Если девочка забывает, что надо держаться поближе к дому, Турвид, – сказала она моему отцу. – Если она делает первое, что взбредет ей в голову и убегает в лес, так что потом

не может найти дороги обратно, если она наносит вред себе и окружающим, как когда она толкнула батрака Улле, если она не находит себе покоя...

Отец счел, что я должна попробовать. Что считает по этому поводу доктор Турсен, я не знала – говорил он мало. Пожать руку, выписать рецепт и до свидания. Момент страха. Каждый раз, когда все заканчивалось хорошо, я срывала у его дома конский каштан, который потом хранила в нашей с Ливой комнате. Блестящие коричневые очки за каждый техосмотр без замечаний. На предыдущей неделе я видела, как доктор своими вымытыми руками поднимает с письменного стола латунный пресс для бумаг, а потом ставит обратно. Тогда я заверила его, что постоянно спокойно дышу, не слышу, как стучит мое сердце, не прячусь от обычных людей, у меня не рождаются страхи и болезненные фантазии от внезапных звуков. У меня все хорошо. Это было почти правдой. Теперь Овчарка следовала за мной по пятам. В ее присутствии все было по-другому, но об этом я никому не рассказывала. Отец сидел рядом со мной и слышал, как я давала правильные ответы на все вопросы. Коричневый комочек в кармане после визита, все прошло хорошо. Поэтому мне разрешили поехать на пастбище.

Я вышла из озера – Лива настояла, чтобы мы искупались. Похоже, она простила меня за то, что я уехала от нее тогда, в Бьёртомте, плескалась и смеялась, откидывала с лица мокрые пряди волос и заплывала далеко. Я же зашла в воду по колено – но тут холодная вода ударила по коленным чашечкам, водоросли опутали мне ноги, и дальше я зайти не смогла, вернулась обратно к избушке.

Там меня поджидал Даг. С того самого вечера в Бьёртомте я не раз танцевала с ним, шла вместе с ним по лесным дорожкам, ощущая его ладонь на своей спине, думая о том, что он не ставит планку высоко, заставляя меня прыгать, не смеется, когда я чего-то не понимаю. Сейчас он сидел с ножом в руке в том месте, где пастбище встречалось со старым лесом – сосредоточенный, с опущенной головой. Склоненный силуэт на фоне деревьев, когда их кроны вот-вот погасят солнце. Словно он в полном единении с ними. И он не спрашивал про мокрое тело Ливы у озера.

Он поджидал меня.

Мы вошли в избушку. Моя кожа прикоснулась к его коже. Словно электрическая искра пробежала между нами, горячая волна, которая медленно сошла на нет. Я ощутила, как стучит его кровь. Его руки – не на тех местах, не так, но всегда нежные. Мощные мышцы, плечи, привыкшие поднимать и нести. Совершенно нормальный человек – и он хотел меня.

Уже снова надев ботинки, он сказал эти слова – я помню звук. Я прижалась к нему и закрыла глаза, когда он собрался уходить.

– Посмотри на меня, Кора, – сказал он.

Я открыла глаза. Среди бревенчатых стен его голос был таким настоящим – не громким, но и не вкрадчивым.

– Мы с тобой будем вместе, Кора, если только ты захочешь.

Он шаркнул подошвой по полу.

– Приедешь к нам жить, ко мне и папе с мамой?

Я посмотрела на него. Подумала о курсах машинописи, на которые уедет Лива, о маминем смехе и докторе Турсене. О Норрфлю. Его дом в лесу. Стать нормальной, обрести свою стаю, принадлежать к чему-то большему. Может быть даже стать счастливой. Любить.

Он снова шаркнул подошвой по полу. Я вдохнула через нос и выдохнула через рот.

– Да, – ответила я. – Я приеду.

Задержаться он не мог. Я видела, как его фигура растаяла среди сосен, старые деревья сомкнулись вокруг него. Они приняли его – этот стоячий народ. Он был открыт, как сборник псалмов, умел защитить огород от улиток и сделать перегородку из старых листьев. И он хотел быть со мной. Да и куда еще мне было податься? В город, как тетушка Гурли – спешить от

одного укрытия к другому и собирать каштаны по случаю избавления от паники, под суровыми взглядами людей, пробегающих мимо в утренней спешке?

Нет. Только не это.

Поэтому состоялась свадьба.

Пожалел ли бы Даг, что женился на мне, если бы знал?

На следующий день после свадьбы я укладывала постельное белье с вышитой монограммой в шкаф для белья в моем собственном доме. «К.М.У». никакой деревни, никаких чужих глаз, только ящик для почты на столбе в двух шагах от старого леса. Я сняла занавески Бриккен, чтобы повесить свои, в мелкий цветочек. Солнечный свет, проникающий сквозь кроны деревьев, падал на крыльцо зелеными отсветами. Тот же цвет, что и у дома. Чуть в стороне кусты сирени. Крошечный яблоневый сад, Даг ласково нашептывал что-то серому тонкому стволу посреди газона, давно кем-то спиленному. Я раздвинула занавески, чтобы выглянуть наружу. Весь день я наводила уют, пока не настало время спускаться к ужину. Все конские каштаны лежали в большой вазе на комодке – за каждый раз, когда мне удалось вывернуться, не опозориться, всех случаев я уже и не помнила. Мои золотые кубки. Вероятно, скоро их число перестанет расти.

Когда Бриккен позвала меня, я накинула на себя серую шаль и вышла из своего дома, чтобы спуститься к ней на первый этаж. В кухне пахло шалфеем, у Бриккен рядом с чугунной плитой стояла современная белая электроплита, и, хотя стулья и стол казались пережитком, оставшимся с рубежа веков, она довольно неплохо обновила кухню при помощи новых подушек на стулья и скатерти в зеленую клетку. Когда я вошла, она напевала, присаливая куски мяса, которым, видимо, суждено было стать эскалопом. Из сковороды во все стороны летел жир, и она, помешивая готовку, то и дело проводила тряпкой по новеньким голубым дверцам шкафчиков. Я быстро собрала букет к столу и идеально накрыла к ужину на зеленой скатерти, поставив одинаковые тарелки, самый крупный цветок на ободке тарелки наискосок вправо. Лампа над столом отбрасывала блики на потолок, а выше находился мой собственный дом. «С завтрашнего дня мы с Дагом будем жить отдельно, – подумала я. – Сошьем свои сидушки на стулья и сами будем накрывать на стол у себя».

Снаружи стемнело. Никто ни словом не обмолвился о том, как накрыт стол. Даг ел и улыбался, говорил мало. Руар вошел и быстро все съел, до чистой тарелки. Потом отодвинул ее от себя и откинулся в своем кресле. Шершавые ладони. Его школой жизни стал лес – широкие плечи, мотоциклы, лошади. Он был сильный и загорелый, его прямая фигура лучше смотрелась в вертикальном положении, чем на диване. Золотые волосы, как у Дага, синие брюки и белые полосы на загорелой шее.

– Спасибо, – сказал он.

Он поблагодарил меня.

Я поднялась, чтобы убрать его посуду. Его глаза остановились на мне.

– Сядь поешь, – сказал он. – Есть другие варианты.

Потом он снова вышел, чтобы перевернуть навоз или положить листья на картофельную грядку. Может быть, потом я смогу увидеть его из своего окна. Вилкой я отодвинула жир и кожу на край тарелки. От помойного ведра под мойкой пахло затхлыми внутренностями. За кухонным окном промелькнул Руар.

– Я вынесу, – сказала я.

Встала и указала на ведро.

Бриккен протянула мне ведро, а я потянулась за ним, когда Руар снова вернулся в дом и повесил на вешалку шапку. Снаружи совсем темно. Моя рука бессильно повисла.

– Может быть, все же завтра?

– Вынеси прямо сейчас, – сказал Бриккен, – а то отходы начнут вонять.

Она крепко держала ведро за ручку. Я взглянула в сторону пустого двора, не взяла ведро. – Ты ведь знаешь, куда идти? Вдоль стены дома до забора, там компостная яма.

Не сводя с меня глаз, она протянула мне ведро, так что я почувствовала запах кишок и жил. Даг был занят чем-то другим. Опустив глаза к полу, я взяла ведро и вышла в черноту.

Тут позади раздалися шаги.

– Давай я отнесу, – сказал Руар, – а ты отдохни, Кора, и не забудь положить ноги на стул и посидеть пару минут.

Я видела, как он двинулся по двору, как пастуший пес, собирающий стадо к ночи. Уверенные шаги человека, знающего, куда он направляется.

Госпожа Кора Муэн Улефос. Следующий день мог, пожалуй, считаться первым настоящим днем. Теперь моя ответственность – чтобы окна были помыты и занавески выглажены. Я открыла свои шкафы и снова закрыла. Переставила какой-то предмет на полке, туда и обратно. Прислонилась к окну, посмотрела наружу, привыкая к виду из него. В саду мой свёкор окликнул свою жену. Голос у него был такой необычный – словно струящееся серебро. Они как сиамские близнецы, такая трогательная парочка, хотя женаты давно – пожалуй, не влюбленные, скорее, как старший брат и младшая сестра, или как очень близкие друзья.

Такая легкость между ними.

Рамы наверняка покрасил сам Руар. Он валит деревья, делает черную работу, руками выкапывает картошку и ходит в лес на охоту, добывает мясо, в котлах на кухне кипела еда и вся жизнь куда-то двигались. Сейчас он переворачивал землю у сложенных камней, но окно было так засижено мухами, что ничего не разглядеть. Я протерла окна, так что они засияли, потом спустилась на половину Бриккен и взяла ведро с отходами, хотя от него пахло подгнившим мясом, тухлыми яйцами и очистками рыбы.

– Если бы вы убрали эти камни, у вас освободилось бы место для цветочной грядки, – сказала я Руару, проходя мимо.

– Нет, – ответил он, но взял у меня ведро с отходами.

Когда я вернулась в дом, Бриккен усмехнулась, глядя на меня. Ее глаза заглядывали вглубь меня, и я заерзала на стуле – или это происходило только внутри меня. Она была красива, как старое дерево. Как живописные руины в лучах заката, хотя я и не хотела этого.

Столько времени. Так много сделано. Так много осталось несказанным. Столько картофеля за все эти годы и столько воды. Вода для картошки, вода для кофе, вода после мытья посуды, вода после мытья пола. Руару довелось голодать, это было заметно. Едва войдя в дом, он сразу направлялся к столу. Набивал полный рот, жевал и глотал быстрее, чем собака на цепи. Словно еду нужно было поскорее загрузить и хранить внутри, чтобы по-настоящему поесть потом. Он смотрел на меня. Всегда благодарил, глядя в глаза. Иногда вытирал помытую посуду льняным полотенцем, прежде чем снова выйти на двор.

Даг ел медленно, никуда не спеша, так что еда успевала остыть. Закончив, сидел и массажировал виски кончиками пальцев, пока я пыталась через его плечо забрать тарелку. Он вообще мыл руки? Наверняка нет. Бесконечно: грязные руки, перепачканная одежда, приготовление еды, ведро с отходами, слой жира в раковине.

Когда Бриккен сморкается в бумажное полотенце, я чуть не подпрыгиваю на стуле. Радио по-прежнему включено, после новостей начинается музыкальная программа. Глаза у Бриккен стали водянистыми – от старости или из-за Руара? Может быть, из-за меня. Вот она отодвигает в сторону рекламный каталог гробов, словно настало время поговорить серьезно. Обозначает окончание этапа, поставив сверху свою тяжелую ступку. Прижимает проклятый каталог тяжелым предметом. Словно собрание гробов может куда-то убежать. Я сжимаю кулаки, хотя для этого нет причин. Судорожно сглатываю, думаю о сыне. Все это я делаю ради него.

– Корабль или тюрьма, – говаривала Бриккен. Хотя я не больна. В физическом смысле. Бриккен тоже не такая уж дряхлая, просто водянистая. Вода от посуды, помой, вода от мытья пола.

– Кожа да кости, – говорит она, сидя передо мной со всеми бумагами и черными мешками. – Суставы и покровы – то, из чего мы состоим. Ничего больше. Надо заниматься делом, не сидеть и не выдумывать себе проблемы.

Она проводит языком по внутренней стороне губы – эта ее манера всегда вызывала у меня отвращение.

Я прекрасно понимаю, что она хотела сказать: что жизнь – штука реальная, что надо держаться, что жалеть меня нечего, что я все это выбрала сама и, может быть, пора уже взять себя в руки – возрасте пятидесяти трех лет. Мне хочется защищаться, сказать, что будь во времени прореха, так что можно было бы вернуться в прошлое, я стала бы другой – или, по крайней мере, попыталась бы. Тогда я ни за что не сделала бы того, что делала в этом доме.

Проглоти эти слова, Кора.

Я должна сдержаться, не открывать рот, от этого ситуация еще усугубится. Он не хотел, чтобы она узнала, что бы он ни говорил. Я встаю и поворачиваюсь к ней спиной, захожу в комнату, где стоит ее кровать.

– Больше кофе не будешь?

Голос звучит по-старомодному с надрывом. Я предпочла бы не отвечать, но тогда она повторит вопрос.

– А что, это обязательно?

– Да нет.

– Ну и хорошо.

– А что ты там собираешься делать?

– Дела у меня.

– Ах вот как.

Упираясь костяшками пальцев в стену, я плотно запихиваю простыню под матрас, перестилаю ее кровать. Мне хочется положить вниз что-нибудь острое, но я лишь закусываю губу, тяну время, не спешу возвращаться в кухню. Она старенькая, внушаю я себе. С ней случится удар, она будет бить меня своей палкой, кинет в меня кофейником за все, что я отняла у нее, лучше ничего ей не говорить. Не только я виновата в том, что произошло, хотя все произошло из-за меня.

Унни

Живя под прицелом

Тронка. Это слово всплыло в сознании, когда голод стал невыносим. Среди всей этой немислимой жары и засухи между мной и Армудом пролег холод. Он рисовал свои воздушные замки обкусанными ногтями. Я же смотрела в землю, закусив губу. Везде сухая выжженная трава. Лишь бы был другой человек, который тебя любит. Но это не так – еще надо выжить. Я любила всех своих домочадцев, однако в животах у вас было пусто. Мы ели все, что могли достать, даже червей. В ваших глазах горело отчаяние, как у голодных зверюшек. Когда вы засыпали, мы, взрослые, сидели за пустым кухонным столом.

– Выхода нет, Армуд, правда? А тебе все равно... Ясное дело, у тебя голова не болит, ты в любой момент можешь собрать свои пожитки и уйти, насвистывая песенку. Придумать невероятную историю про нас всех, которые расскажешь потом кому-нибудь другому.

Такие слова произнесла я, хотя не хотела этого говорить.

– Когда кормушка пуста, лошади кусаются, – ответил Армуд, пытаясь притянуть к себе мою руку, успокоить меня. – Вот увидишь, все образуется, нам надо держаться вместе.

Но у меня живот подвело от голода, и больно было видеть, как ваши глаза все больше проваливаются в глазницы, так что я переступила свои пределы, закричала, заплакала. Стала грубой и глупой. И получила ответ.

– Ты хочешь, чтобы я ушел, Унни?

Глаза его смотрели грозно. Армуд поднялся так резко, что стул упал на пол.

– Ты хочешь от меня отделаться? Ты знаешь, что мои ноги привыкли нести меня. Мне уйти прямо сейчас, этого ты добиваешься?

Он подошел к двери.

– Проклятье, я мог бы остаться там, где был!

Его голос звучал то надрывно, то глухо. Стон. Мольба.

– Черт, Унни, ничего умнее не придумал, чем пойти с тобой. Будь проклят чертов пастор! Будь проклята Тронка!

Ты повернулся в постели, Руар, но у меня не было сил проверить, проснулся ты или нет. Я сидела, закрыв глаза, не в силах даже заплакать. Или плакала одной водой, бессильными слезами.

– Ты не помнишь, Унни?

Армуд снова оказался рядом со мной, склонился надо мной, и я почувствовала запах сухой травы от его волос.

– Ведь это тебе пришлось бежать, Унни, а я пошел за тобой. Ты забыла свои мешочки с травами и письмо пастора в Тронку?

В его голосе звучала горькая откровенность. Равнодушие? Я буквально рассыпалась на песчинки, уронив голову на пустой стол. Армуд задышал мне в ухо.

– Ты думаешь, я хочу уйти?

Я продолжала смотреть в пол. Тогда он снял свое золотое кольцо и протянул руку, чтобы я сняла мое. Внутри меня все потрескалось, как сухая глина, когда я стащила кольцо с пальца и положила на его ладонь среди выпуклостей и линий, не решаясь поднять на него глаза. Осторожно подняв мою голову за подбородок, он обнял меня взглядом. Схватил меня за руку и потянул, заставив меня встать. Кольца лежали на его ладони, одно большое, другое маленькое.

– Без тебя – никогда, – произнес он.

Глаза снова стали такими, какие они у него всегда, грубое выражение в них растаяло.

– Ты не можешь вернуться, поэтому и я не могу. Я принадлежу моей дочери, Руару и тебе. Я выбрал тебя, Унни, с тобой я иду по жизни. Мы одно. А здесь наш дом.

В ту минуту мы дали друг другу обещание. Тесно прижавшись друг к другу у кухонного стола, который он смастерил, мы снова надели друг другу обручальные кольца.

– Ты и я, Унни, – сказал он. – Навсегда.

Тут хлынули слезы. Обожгли меня, как воспоминания. Я обняла его за шею, прижалась лбом к его лбу. Нидарусский суд много дней назад. Ты и твоя сестра были единственными гостями на нашей свадьбе, и вы спали.

Мы пошли к крестьянину, чтобы умолять его о помощи. Может быть, он поможет нам. Озеро, в котором притаились рыбы, видело, как мы идем по тропинке, не зная, чем закончится наш поход. Мятлик поник. Трава пожухла.

Когда мы постучали, семья сидела за столом, нам открыла служанка. Теперь служанка была другая, не та беременная, которую я видела на поле в первый наш приход, у этой был курносый нос и светлые волосы. В нос нам ударил запах еды и сливочного соуса, когда мы замерли в дверях – через плечо служанки я разглядела стол. Целая миска картошки, смазанной маслом. Колбаса, с которой капал жир. Перед собакой, сидевшей в углу, стояла полная миска – собака лакомялась таким, о чем мы и мечтать не могли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.